

Р 39
ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



АНРИ де-РЕНЬЕ

**ГЕРОИЧЕСКИЕ
МЕЧТАНИЯ
ТИТО БАССИ**



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО



ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ФРАНЦИЯ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

АНРИ ДЕ РЕНЬЕ

HENRI DE RÉGNIER

1864

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

АНРИ ДЕ РЕНЬЕ

ГЕРОИЧЕСКИЕ МЕЧТАНИЯ

ТИТО БАССИ

ПЕРЕВОД Б. А. КРЖЕВСКОГО

ПЕТРОГРАД — МСМХХІІІ — МОСКВА



ГЕРОИЧЕСКИЕ МЕЧТАНИЯ
ТИТО БАССИ

L'ILLUSION HÉROÏQUE DE TITO BASSI

К ЧИТАТЕЛЮ

Мне не хотелось бы выпустить в свет эту книжку не предупредив читателя, что он не найдет в ней ничего относящегося к текущим событиям.

Мой рассказ о героическом призвании, героичен совсем не в том смысле, о котором можно было бы подумать, придав этому слову его нынешнее значение. В каком отношении и почему наш Тито Басси является героем, читатель увидит сам, коль скоро соизволит пробежать эти страницы, не заключающие в себе, повторяю, ни единого намека на жизнь, какой мы живем в настоящую минуту.

Написанный весной 1914 г. и опубликованный в журнале еще до наступления той знаменательной даты, когда бюллетени армий сделались единственным нашим чтением, — роман этот тесно связан с переживаниями, казушимися сейчас переживаниями другого века — с такой быстротой отодвинулись они для нас в прошлое. Несмотря на такой анахронизм, а вернее в силу этого самого анахронизма, я счел себя в праве предложить читателям свидетельство об эпохе, сейчас такой далекой. Пусть посмотрят на него, как на осколок зеркала, ныне уже разбитого, в котором некогда фантазия поэта любовно рассматривала лицо своей мечты.

Я не знаю, как мне это еще подчеркнуть: в истории этой все вымышлено, все — кроме мест, где протекает самое действие. Я прибавлю еще, что именно место предопределило события и подсказало мне моих персонажей. Тито Басси родился в Виченце и из Виченцы: ей одной я обязан его появлением в свет.

Как часто во время поездок в Италию я останавливался в этом благородном и прелестном городе! По дороге в Венецию он вместе с Вероной и Падуей является одной из самых приятных остановок. Как часто приветствовал я оттуда льва св. Марка, стоящего на колонне возле базилики Палладио, прежде чем пуститься вдоль по старым живописным улицам, украшенным величественными фасадами дворцов. Ибо Виченца — город дворцов; они одевают ее обильной и пышной торжественностью, украшают колоннами, фронтонами, статуями, свидетельствуя о роскоши и великолепии ее прежней жизни, следы которой отражают также богатые и веселые виллы, стоящие вокруг города, в роде виллы Ротонда, что архитектурой своей обличает циркуль Палладио, или поэтической виллы Вальмарана, где Тьеполо расписал залы мифологическими и романическими фресками, сценами карнавала и *chinoiserie*.

О, Виченца, ее дворцы, ее виллы! Какие прекрасные образы оставляла она во мне своим торжественным, своеобразным убранством в нежные и ясные весенние дни и в залитые богатым светом дни осени! В дни таких прогулок и блужданий я повстречал беднягу Тито Басси и рассказал себе его мнимые авантюры, его героическое ослепление! Пусть он простит меня за то, что я вызвал его из недр родного ему города! Его выдумал не я. Сама Виченца мне дала его и, если я принял его таким, каким она мне его показала, то для того только, чтобы лучше помнить о ней, чтобы возратить его ей в виде скромного знака восхищения и благодарности.

Июнь 1916.

Я родился в Виченце и готовился было там же и умереть в тот день, когда мне объявили приговор подеста, повелевавший доставить меня на место казни и повесить за шею на виселице, как значилось в решении, вынесенном против меня, Тито Басси, сына Оттавио Басси, сапожника, и Клелии Герамбини, белошвейки, тогда уже покойных, душу которых да упокоит господь, как мог бы он упокоить и мою при обстоятельствах, изложенных ниже, и как он упокоит ее однажды, когда сочтет это нужным.

Этой минуты, однако, я совсем не боюсь, как не дрожал я и перед сроком, назначенным судьями для того, чтобы отделить мое тело от земли, на которой мы живем, и поднять его над нею ровно на такое количество футов, каким она должна была потом меня засыпать. Жизнь для меня бремя и я охотно соглашался покончить с нею расчеты, как это предписано было законом. Но небу не угодно было допустить это, и я не ступлю снова на дорогу жизни слишком долгую, на мой взгляд, и слишком мало похожую на то, как бы я сам хотел жить, — не записав предварительно нескольких довольно-таки примечательных обстоятельств, которые сделали из меня то, что я есть, наперекор тому, чем я желал быть.

Начинаясь мною рассказ позабавит, быть может, иных любопытных и развлечет иных вольнодумцев, склонных думать, что обыкновенный актер способен переживать чувства, подымающие его над профессией и отличающиеся от всего, что навязывают ему привычные роли, за которые ему аплодируют или свищут. С таким расчетом

приступаю я к этой записи в четвертый день октября 1773 г., ровно месяц спустя после события, которое чуть было не сделало из родного мне города Виченцы места моего последнего упокоения, если бы воля божия и развеселое милосердие нашего подеста не решились иначе.

* * *

Отец мой, Оттавио Басси, сапожник по профессии, ко времени моего рождения был уже пожилым человеком, ибо женился довольно поздно из-за того, что, как сам он шутиливо выражался, не мог сразу подыскать себе „башмака впору“. Впрочем, шутка эта была единственной, которую я от него слышал, так как не легко было привести его в веселое настроение. Из этого не следует заключать, будто отец мой был недоволен жизнью или несчастлив, скорее наоборот, но он не испытывал никакой потребности наружно выказывать свою радость и счастье. Он хранил все про себя и не делился ни с кем, не исключая даже и матери, которая, однако, и составляла его главное счастье, ибо он ее искренно любил и нашел в ней самую идеальную жену. Конечно, он отлично сознавал это и, тем не менее, отнюдь не допускал и никогда не позволял себе с ней тех незаметных знаков внимания, которые придают особую деликатность и благоухание семейной жизни. Надо сказать, жил он с женой самым достойным образом и старался, чтобы она ни в чем не испытывала недостатка, особенно в виду ее слабого здоровья, но кроме этих забот ничего другого не было и даже на слова он был весьма скуп, как если бы признавшись ей однажды и раз навсегда в любви, он считал, что это дело для них самих вполне ясное и что возвращаться к нему более не следует.

Чтобы не погрешить против справедливости, я должен прибавить еще, что в жизни своей отец был примерным супругом, и самая ревнивая жена не нашла бы чем его попрекнуть. С раннего утра он был уже на ногах, и весь день сидел за работой. Трудился он с необыкновенным прилежанием и когда наступали часы еды, его приходилось на-

сильно отрывать от кож и колодок. Едва поднявшись из-за стола, он снова принимался кроить, шить и заколачивать гвозди, работал шилом и молотком, ни на минуту не позволяя себе оторваться от дела. С покупателями он никогда не вступал в разговоры и отвечал всегда очень кратко. Речи их не возбуждали в нем ни малейшего любопытства и он оставался вполне равнодушен к тому, что обыкновенно интересует городских жителей, почему и являлся он самым большим домоседом на свете. Церемонии, процессии, народные гулянья, общественные празднества никогда не подбигивали его выйти из дому и ничто, кроме воскресной службы, не могло заставить его покинуть свою лавку.

Лавка эта, в которой прошло лучшее время его жизни, находилась на улице Поццо Россо, против дворца Вилларчьеро. Соседство это могло бы развлечь внимание иного, не столь трудолюбивого, человека, как мой отец, потому что во дворец Вилларчьеро постоянно проходили люди разных званий, но отец мой оставался вполне равнодушным к этому зрелищу и не поднимал головы от работы. Мать моя иногда осторожно хвалила его за это и уверяла, что не всегда он вел себя так и что прежде у отца слух был гораздо тоньше, чем теперь. Она со смехом рассказывала, как в то время ей нельзя было ногой ступить на улицу без того, чтобы стук ее каблучков по плитам не заставил небезызвестного Оттавио насторожить уши. Стоило ему заслышать шарканье ее тонкой подметки, как сейчас же кровь бросалась ему в лицо, молоток переставал стучать по коже, и когда она проходила мимо лавки, то видела, как два глаза впивались в нее таким горячим взглядом, что трудно было его не заметить. Такой прием показался ей забавным, и она не пропускала случая делать так, чтобы он повторялся довольно часто. Доказательством этого явилось то, что упомянутый Оттавио Басси однажды не выдержал, снял свой фартук, перебрался через улицу и прошел прямо во дворец Вилларчьеро просить руки некоей Клелии Герамбини, камеристки графини. Вначале графиня громко раскричалась, услышав, что любимая камеристка хочет ее покинуть и выйти замуж за какого-то дрянного сапожника, который со всей

своей любовью недостойн был все же развязать шнурки у башмаков такой миленькой особы!

Вот каким образом отец мой и мать поженились. При этом не было в них обоих ничего такого, что могло бы предсказать подобное согласие и то, что согласие это окажется длительным, и то, что я появлюсь на свет божий. Насколько отец мой был прилежен, молчалив и элементарен, настолько мать подвижна, разговорчива и большая мечтательница. К тому же она была красивой и хрупкой, но хрупкость эта не мешала ей быть по своему энергичной. Она была мастерицей шить и вышивать, и немедленно к ремеслу моего отца присоединила небольшую белошвейную мастерскую. Благодаря протекции графини Вилларчьеро, в заказчицах у нее не было недостатка. Такого рода работа нравилась матери и она занималась ею и не особенно уставала. Большая часть работы исполнялась у нее на глазах, и она ограничивалась тем, что работала сама особенно трудные вещи, всё остальное поручалось работницам, которыми матушка командовала весьма искусно. Главное ее занятие состояло в том, чтобы получать заказы и относить на-дом работу.хлопоты эти давали ей случай бегать из дворца в дворец и делать приятные визиты самым красивым дамам Виченцы, у которых она, благодаря графине Вилларчьеро, была в моде. Повсюду мою мать принимали очень благосклонно. Ее запросто вовлекали в общие разговоры, и она приносила с собой после таких посещений множество всевозможных новостей. Она любила читать, и поэтому ей давали на дом газеты, брошюры и даже книги, которые она с жадностью проглатывала и которые способствовали тому, что в голове ее постоянно поддерживалось лихорадочное возбуждение, для нее вообще очень естественное и несомненно переданное мне от нее по наследству.

Эти размышления привели меня к тому различию в характерах, которое отличало моего отца и мать, вследствие чего союз их представлялся весьма курьезным и примечательным. Отец мой, как я уже говорил, был человек самый элементарный. Никто лучше его не следовал правилу: „суди, мой друг, не выше сапога“. Претензии его не шли дальше своей профессии. Только бы кожа была

прочная, а строчка выходила чисто — этого было для него вполне достаточно! Все, что не имело отношения к этим предметам, его нисколько не интересовало. Из всего шума и гама, который поднимают люди на земле, он признавал только шум, производимый при ходьбе подметками и каблучками. Он не мог представить себе, что жизнь его могла бы сложиться иначе, и ничего на свете, повторяю, не казалось ему более важным, чем изготовление пары башмаков. Одним словом, у отца моего совсем не было воображения.

У матери же, напротив, воображение было чрезвычайно богатое, и оно неизменно сопровождало всякую ее работу. Иголка в ее руках превращалась в фею, ножницы в послушного дракона, челюсти которого открывались и закрывались по ее желанию. Я вполне уверен, что, когда отец мой явился просить ее руки, он представился ее глазам в образе чародея, переодевшегося в бедное, волшебное платье. Даю слово, она безусловно думала, что выходит замуж за мага, но в сущности ей никого не нужно было, чтобы производить собственные волшебства. Сидя за своей белошвейной работой, она улетала мыслью ко множеству самых разнообразных предметов. Матушка моя обладала редким даром переживать в своей душе тысячу разнообразных существований. Она умела быть — последовательно и даже сразу, всем, чем хотела, по собственному желанию она приспособляла к себе и воплощала в себе образ, заступавший для нее место реальной действительности. Чтение газет помогало ей увеличивать площадь магического круга, в котором она двигалась естественно и свободно, а романы обогащали ее всеми ресурсами вымышленных персонажей, и она выбирала среди них того, кто, казалось, лучше всего подходил в данную минуту. Способность перевоплощаться поддерживала ее в привычном и чудесном состоянии рассеянности и дарила ее необыкновенно ровным и приятным настроением. Не все ли равно, что она жена простого сапожника и живет в бедной квартире на улице Поццо Россо, коль скоро по своему выбору она может вообразить себя самой прекрасной дамой в городе и занять в нем самый прекрасный дворец, если из маленькой белошвейки она

с такой же легкостью может стать графиней Вилларчьеро, как и наложницей турецкого султана!

Следствием разницы в характерах, только что отмеченной у родителей, являлось то, что никто из них не был чересчур мною занят; отмечая особенности нашей семейной жизни, я позабыл вам сказать, что я успел достигнуть такого возраста, когда был уже в состоянии заметить все рассказанные здесь мелочи. Мне шел тогда уже десятый год, и я с удовольствием наблюдал все, что происходило вокруг и обсуждал это наедине с самим собой.

В результате подобных обсуждений внимание мое остановилось, в первую очередь, на событиях моего раннего детства. По мере того, как я думал о нем, начальный период моей жизни начинал представляться мне в весьма благоприятном свете. Судьбе моей не стоило особенно завидовать, но мне не приходилось на нее и жаловаться. Отец и мать по своему меня любили. Первою их заботой было обеспечить мне хорошее питание, благодаря чему к тому времени, о котором идет речь, я был довольно рослым толстощеким мальчиком и выглядел очень недурно. Лицо у меня было не очень красиво, но свежее, и черты его были правильны. Я был высокого роста, несколько небрежен в манерах, но при случае оказался бы способен выдержать всякую работу. Впрочем, я занимался только тем, что мне нравилось, ибо родители не принуждали меня вовсе, и я пользовался самой неограниченной свободой. С утра до вечера я делал все, что мне было угодно. Я был господином своих поступков, и никому в голову не приходило дать им какое-либо определенное направление.

Родительская опека сказывалась на мне только в двух вещах. Отец больше всего заботился о том, чтобы обувь у меня была удобная и крепкая, а мать о чистоте и тонкости моего белья. Добившись своего, они мало беспокоились о всем остальном. Поэтому на костюме моем нередко сказывались следы нерадивости, но и отец, и мать оставались к ним вполне равнодушны. Не все ли равно было для отца, что через рваные чулки было видно тело, зато на ногах моих была хорошая обувь. Не все ли равно было

матери, что из дырявых штанишек вылезал кусок рубашки, зато рубашка эта была из самого тонкого и нежного полотна.

Эти досадные мелочи моего одевания могли бы придать мне вид большого забияки, если бы кротость моей физиономии не опровергала подобной догадки. И действительно, только по внешности меня можно было счесть забиякой. Могло бы выйти, конечно, иначе, ибо, как было сказано выше, я рос на свободе, почти без всякого призора. Дни мои принадлежали одному мне, и я пользовался ими по собственному усмотрению. Проведя положенные часы у „маэстро“, учившего меня читать, писать и считать, я мог располагать остальным временем, как мне заблагорассудится. Я имел полную возможность присоединиться к бандам маленьких сорванцов, носившихся по Виченце, но у меня не было никакого желания вести себя дурно, вкусы у меня были иные, и нельзя было считать заслугой то, что я не принимал участия в шумных играх этого крикливого, слоняющегося сбежища.

Итак, я не водил знакомства с мальчишками Виченцы, наполнявшими все улицы своей шумной возней. Я уклонялся от всякого рода экспедиций и не вмешивался в их проказы. Никто никогда не видел, чтобы с камнем в руке гнался я за собаками или кошками, бросал грязью и булыжниками в кареты, дергал звонки или изо всей силы брякал дверными колотушками, пачкал воду прачкам, стиравшим белье в Ретроне или в Баккильоне, перелезал через забор сада, воровал фрукты, или выкидывал в городе или пригороде какие-либо штуки. Одним словом, я не имел никаких вредных качеств, которые обычны в детском возрасте и отравляют для нас воспоминания детства.

Если я остановился на этих вещах, то, конечно, не из чувства тщеславия. Я знаю, что впадать в тон самовосхваления не годится, но я сознаю свою обязанность перед читателем сделать правдивым портрет, который пишу с самого себя. К тому же я не приписываю собственным заслугам те крупницы достоинств, которые могу в себе отметить. Совсем не мне следовало бы воздать честь за все

лучшее, что во мне было. За кроткий нрав, отличавший первые годы моей жизни, я должен быть признателен благородной Виченце, которая была моей родиной и настоящей воспитательницей моей юности.

*
*
*

Город наш нельзя назвать ни самым древним, ни самым известным или самым большим и красивым в Италии — среди случайностей бродячей жизни мне пришлось встретить немало городов величественнее его и богаче. Мне и в голову не приходит сравнивать Виченцу с ее знаменитыми соперницами, одно имя которых говорит о неоспоримой славе. Что такое Виченца рядом с верховным Римом, матерью народов, рядом с божественной Флоренцией, княгиней искусств, или рядом с ученой Болоньей? Просторный Милан превосходит ее в такой же мере, как и многолюдный Неаполь. Даже соседние с нами Верона и Падуа опередили ее былой славой своих войн и учености. А Венеция, чей крылатый Лев протянул свои когти над нашим старым городом, не затмевает ли она его своим могуществом и своеобразием? Царица Морей, несравненная сирена, чарующая очи и сердца — она влечет к себе любопытство целого мира, и посещающие ее иностранцы навсегда сохраняют в памяти воспоминание об ее незабываемой грации.

Но все же и она, наша Виченца, стоит того, чтобы задержать на ней взгляд! Полюбуйтесь на нее, у подножия Monte Berico, в плодородной равнине, среди садов и виноградников, оплетенных ветвями лоз и тучными гроздьями винограда, в самой середине приятного и обширного небосклона. Две реки, Ретроне и Баккильоне опоясывают ее течением своих прохладных вод. Вот, издали она открывает глазу стройную высь своей кирпичной кампанилы, округленные куполы церквей и величественную архитектуру базилики Палладио. Ох, какой у нее благородный облик, если посмотреть со стороны равнины или зеленеющих склонов Monte Berico! И вблизи она

выглядит так же красиво. Нельзя посмотреть на нее и не полюбить, но к любви, которую к ней чувствуешь, примешивается известная доля почтения. Разве она не город дворцов? Гений божественного Палладио украсил ее великолепным убором из камня. Это он вывел ее благородно-торжественные фасады, сообщающие нашей Виченце горделивость и достоинство, при взгляде на которые в душу нисходят идеи величия и героизма.

Это несомненно верно, и я без преувеличения берусь утверждать, что ежедневное созерцание таких чудесных вещей в значительной мере объясняет, почему я не стал оголтелым сорванцом в том возрасте, когда беспризорность и свобода моей жизни могли бы заставить меня состязаться с самыми отпетыми шалопаями. Действительно, вместо того, чтобы приобрести во время своих блужданий вкус к дурному обществу, я пристрастился к уединению, и это помешало мне вмешаться в шумные и ужасные игры моих сверстников. Не принимая участия в их забавах, я предпочитал держаться в стороне и единственно одиночество сделало меня таким, каким одно время я был, и это могло бы вылиться в нечто благородное и высокое, если бы зависть рока не проявила себя и не опрокинула счастливые предположения моей натуры.

Они были несколько странные и, пожалуй, о них не стоит вовсе рассказывать. Нужно вам все же сказать, что в это время, на десятом году моей жизни, главным моим удовольствием было рассматривать самые красивые фасады многочисленных дворцов, являющихся гордостью и честью нашего города. Каждый день я обходил их один за другим и не мог вдоволь налюбоваться на их красоты. Я знал наизусть число колонн и окон каждого. Я изучил их в самых мелких деталях. Статуи, украшавшие их фронтоны и ниши, были мне отлично знакомы. Они бесконечно интересовали меня своими позами и одеждой, по большей части, античной, своими атрибутами, торжественностью и грацией своего облика. Когда я достаточно на них насмотрелся, я стал упражняться в том, чтобы как можно лучше скопировать их жесты и выражения. От этой игры моя детская душа при-

ходила в восхищение, хотя я сам точно не знал почему, но восхищение это доставляло мне самую неподдельную радость. Я чувствовал себя перенесенным в какой-то сверхъестественный мир, представителями которого являлись статуи, а те, кто жил в охраняемых ими благородных зданиях, казалось, разделяли с ними их благородное достоинство.

И хотя мне часто случалось слышать, как матушка, разносившая заказчикам белошвейную работу, называла их по именам, я чувствовал к хозяевам этих пышных жилищ совершенно особое почтение. Чувство это было так сильно и так наивно, что мне очень трудно было понять, каким образом моя мать, удостоившаяся исключительного счастья прожить несколько лет во дворце Вилларчьеро, состоявшая на службе у графини, имевшая к ней доступ во все часы дня, согласилась променять подобные места на скромную квартиру, которую мы занимали.

Такой оборот дела представлялся мне необъяснимым. Я был слишком юн и не мог сообразить, что матушка моя, благодаря чудесным свойствам своей фантазии, только по внешности перестала жить во дворце Вилларчьеро, и что в уме ее остался от него образ достаточно сильный и яркий, заменивший тем самым действительность. Дворец Вилларчьеро был одним из многочисленных и призрачных владений, где матушка моя разыгрывала многообразную историю своей жизни. Во всяком случае, я часто расспрашивал свою мать о том, что находится внутри таинственного дворца Вилларчьеро, фасад которого постоянно вставал перед моими любопытными взглядами. Я заставлял ее описывать расположение комнат. Дворец Вилларчьеро представлялся мне каким-то раем, а те, кто туда проникали, были в моих глазах счастливейшими из смертных. А обитатели его, я готов был поклясться, принадлежали к какой-то высшей породе. Только за самые возвышенные деяния могли они удостоиться подобной награды и в наивности своей я оделял их всеми возможными добродетелями.

* * *

Вот каким образом стали зарождаться в моей детской голове химерические видения жизни, стали складываться мечты, назначение которых было управлять моим существованием. Увы, теперь мне уже известны их прискорбные результаты. Они сделали меня бедняком, каким я остался и посейчас, по их милости пеньковая петля чуть-было не вздернула меня на виселицу. Правду сказать, я не очень бы восстал против такой развязки. В возможности быть повешенным есть нечто выходящее за пределы банального течения жизни. Но и в этом отношении я сделался игрушкой коварных обстоятельств. Однако, не будем забегать вперед и возвратимся опять к тому времени, когда мне было всего только тринадцать лет.

Я снова вижу себя таким, каким видел себя тогда в четырехугольном зеркале, висевшем на стене моей каморки. Мне уже не нужно было подниматься на цыпочки, чтобы в него посмотреться, с годами я стал выше, и в фигуре моей начала сказываться отроческая неуклюжесть. Ни отец, ни мать не обращали внимания на то, что я расту, и совсем не думали, что уже недалек тот час, когда нужно будет приставить меня к какой-либо работе и выбрать для меня профессию. В ожидании предстоящего решения я продолжал наслаждаться своею праздностью. Она, впрочем, нисколько меня не тяготила. Дни мои походили один на другой, но я никогда не находил их слишком длинными. Побродив вволю по улицам Виченцы, я приходил и садился у дверей нашей лавки на большую тумбу, стоявшую около, и оттуда начинал свои наблюдения. Я оставался там очень долго, прислушиваясь к стуку отцовского молотка или к звукам голоса матушки. Отец размеренными ударами бил по коже, а мать очень часто напевала какую-нибудь арию под рассеянные движения своей иглолки, но главной приманкой выбранного мною пункта был вид, открывавшийся на фасад дворца Вилларчьеро, что стоял, как уже было сказано, как раз напротив нашего дома. Улица в этом месте была довольно

узкая, и массивная громада дворца Вилларчьеро величественно убегала вверх своими высокими окнами, плоскими колоннами, статуями и всей своей богатой, напыщенной отделкой, вычерченной циркулем великого Палладио. С каким любопытством устремлялись мои глаза на этот фасад и на широкие ворота, дававшие доступ во внутренний двор! Ворота эти обладали для меня особой притягательной силой. Через них проходили и беспрестанно сновали взад и вперед посетители, так как дворец Вилларчьеро был очень оживлен. Я видел как туда проходили слуги и люди всякого звания, имеющие отношение к жизни такого вельможи, каким был граф Вилларчьеро — все, начиная с аббатов и кончая учителем танцев. Проезжали также кареты с гостями и особенно красиво было, когда оттуда показывалась карета графа и графини. Ее тащили две больших лошади с заплетенными хвостами, а правил ими дородный кучер. Лакеи, стоявшие на подножках сзади, были в золотых ливреях. Сквозь стекла я мог видеть высокую прическу графини и пышный напудренный парик самого графа. От этого замечательного зрелища сердце у меня начинало биться сильными ударами.

Быть может, эти наивные переживания вызовут улыбку, но заслугой их является то, что они были вполне искренни. Никогда еще смертные не были предметом более простодушного восхищения. Какие замечательные подвиги должны были они совершить, чтобы удостоиться подобных преимуществ? И тут романтическое воображение, унаследованное мною от матери, вступало в свои права. Хотя она и не делилась со мною своими мечтаниями, кое-что я угадывал из обрывков разговора, так как матушка доходила иногда до того, что избирала отца в поверенные своих бредней. Он широко раскрывал глаза и ни слова не понимал в ее разглагольствованиях, но мой юный слух был полон внимания и не пропускал ни единого звука. Я находил в них поощрение для своих собственных фантазий и отдавался им с еще большей свободой. А поэтому я не переставал приписывать графу, графине и самому себе самые удивительные приключения, из которых самое скромное, несомненно, их чрезвычайно бы удивило. Одним словом я сочинял глу-

posti, но в глупостях этих не было ничего недостойного и в них не стыдно сознаться. И вы узнаете из них самую главную, если я вам открою, что я ни на секунду не задумывался выполнить самое трудное предприятие, лишь бы только удостоиться чести показать себя с выгодной стороны графу и графине. Чтобы достигнуть своей цели, я придумывал подходящие положения. Я представлял себе, например, что, останавливая лошадей, которые понесли было их карету, я попал под нее. Меня поднимают, я почти раздавлен колесами, но каким взглядом признательности платили за мой подвиг эти благородные люди! О, как охотно прогнал бы я разбойников, если бы они на них напали, и с каким гордым лицом вернулся бы обратно в Виченцу! Мне хотелось взять в плен турецкого султана только для того, чтобы привести его закованным в цепи во дворец Вилларчьеро. Но лихорадочное состояние, в которое приводили меня подобные фантазмагии, продолжалось недолго, и я падал с своих высот и понимал, что я всего-навсего маленький мальчик, сидящий на тумбе, весь ушедший в свои пустые фантазии. Тем не менее даже сознание низкого происхождения и слабости моего детского возраста не могло вырвать из сердца героических мечтаний, его обуревавших. Мне казалось, что придет день и представится случай выказать себя тем, чем я себя воображал, и надежда эта поддерживала иллюзии и безумства.

Фантазмагии мои, бывало, нарушались дружеским щелчком в ухо или похлопыванием по плечу. Это добрый аббат Клеркати выводил меня из задумчивости. Аббат Клеркати был знакомым моих родителей. Он любил их за набожность и добрые нравы и нередко заходил к нам на несколько минут поболтать. Он любил простодушную важность отца и с удовольствием вовлекал матушку в разговор на ее любимые темы, ибо тонкий ум его сразу разобрался в характерах моих родителей. Чтобы отблагодарить его за интерес, который аббат к ним выказывал, отец и мать подносили ему время от времени в презент пару башмаков или какой-нибудь изящный вышитый воротничек. Аббат был весьма чувствителен к такому баловству. Это был толстый человек

с головой куклы, и выражение доброты и мягкости было розлито у него по всему лицу. Костюм его всегда был весьма опрятен, он любил хорошее общество и, конечно, ухаживал бы за женщинами, если бы это позволяло ему его звание, так что в этом отношении добрый аббат, хотя и не был безупречен, мог упрекнуть себя только в самых невинных грешках. За всем тем он был весьма ученый человек и отличный латинист. Граф Вилларчьеро его высоко ценил за прекрасные эпитафии и торжественные надписи, составленные в честь семьи Вилларчьеро. Что до графини, то и она не оставалась бесчувственной к одам, элегиям и мадригалам, посвященным ей аббатом, тем более, что, по общему отзыву, они были достойны лучших поэтов древности. Поэтому аббат Клеркати был своим человеком во дворце Вилларчьеро и постоянно проходил мимо наших дверей, когда шел свидетельствовать свое почтение графу и графине. В таких случаях он не преминет, бывало, если только я находился тут и сидел на тумбе, вытащить из кармана какое-нибудь лакомство (а у него всегда был запас не столько для себя, сколько для любимого мопса графини) и сказать мне несколько ласковых слов:

— О, боги! Чем занят ты, Тито? Ты зеваешь на ворон, можно подумать, ты гадаешь по птицам? Лучше бы зашел ко мне подучить немного латынь или поиграл бы с товарищами, чем сидеть тут на камне, свесив ноги; уж не говорю о том, что в один прекрасный день карета господина графа, переломает их тебе, в'езжая в ворота.

От этого обращения я смущенно потуплял голову и краснел от удовольствия. Чего бы я не дал, в самом деле, если бы угроза аббата оправдалась! Я готов был снести горчайшие муки, пусть бы только они остановили на мне взгляд графа. Мало того, они были мне отрадны и сладостны. Да, могу сознаться в этом без стыда. Я был наивен, но по-своему, я был чем-то в роде героя. Жажда славы владела мною, именно она и ничто иное сказывалась во мне в меру моих сил, и именно она, вместе с стремлением к героизму, зародила во мне желание быть красивым.

* * *

Как раз в это самое время я впервые заинтересовался чертами своего лица и рассматривал его с особою целью: совсем не для того, чтобы удостовериться хорошо ли оно вымыто. Я помню, как, однажды, пополудни, опершись на перила моста Сан Микеле, я рассматривал в водах Ретроне отражение своего лица. С грустью мне пришлось убедиться, что в нем не было ничего замечательного. Оно показалось мне кротким, правильным, слегка вялым, легко изменявшимся от движений мускулов. Ему не хватало той твердости контуров, какую я видел на лицах статуй. Я искал таких же благородных пропорций, но, увы, никак не мог их найти.

Итак, я весь ушел в свои размышления, как вдруг они были прерваны довольно сильным тумакон в спину. Я круто повернулся и сверкнул глазами на непрошенного гостя, смутившего мой покой. Передо мной стоял Джироламо Пескаро, мальчик моего возраста, которого я встречал у маэстро. Мы прошли с ним вместе азы. Все же я страшно расвирипел, но ярость моя не то что не испугала Джироламо, а заставила его закатиться смехом, смехом, который становился все сильнее по мере того, как я все больше распалялся гневом. Должно быть, вид у меня был очень забавный, потому что Джироламо буквально хватался за бока. Это обстоятельство привело меня в смущение и остановило руку, поднявшуюся было на насмешника. Джироламо воспользовался этим и крикнул:

— Послушай, Тито, не сердись! Если б ты видел, какое у тебя было лицо! Позволь мне посмеяться еще минутку... Ну, вот, я кончил. Пойдем теперь к нам. Мама испекла лепешку, а отца сейчас нету дома. Я покажу тебе театр.

Слова эти успокоили меня какой-то волшебной силой. Отец Джироламо Пескаро был сторожем в знаменитом Олимпийском театре, являющемся, как известно, одной из диковинок Виченцы, достопамятным творением гения нашего — Палладио. Я не раз уже просил Джироламо сводить меня в это знаменитое место, но ни разу еще он не давал своего

согласия. За то, что он привел туда однажды нескольких шалунов, своих товарищей, которые там напроказили, Джироламо строго наказали. Вот почему его предложение заставило меня мигом позабыть о гневе и дерзком обращении со мной Джироламо. Я принял его с восторгом, и мы направились к квартире родителей Джироламо, живших в том самом здании, где был построен театр. Джироламо не солгал: его отца не было дома, а мать испекла лепешку. После того как добрая женщина каждому отпустила по хорошему куску вкусного теста, мы пустились вдоль узкого коридора, причем Джироламо шел впереди и держал в руке большой ключ, который он ловко стащил с гвоздя и который должен был открыть нам вход во святилище. Мы подошли к тяжелой двери: она вела к лестнице в несколько ступенек. Джироламо толкнул меня туда. Я поднялся наверх и затем вдруг выронил свою лепешку и изумленно вскрикнул.

Передо мной открылся обширный зал, с уходившим в верх амфитеатром, увенчанный рядом колонн, которые поддерживали балюстраду. Между колоннами в нишах стояли античные статуи. Перед амфитеатром возвышалась сцена, пересеченная великолепной декорацией, изображавшей греческий портик. Портик тоже был украшен колоннами и статуями, и через тройную арку открывалась перспектива на три улицы, окаймленные домами. Эффект был рассчитан таким образом, чтобы улицы терялись в отдалении, а окаймлявшие их дворцы из картона и крашенного штука выглядели постройками из превосходного материала, украшенными драгоценным мрамором. Можно было подумать, что здесь собраны вместе самые прекрасные здания Виченцы и что их поставили рядом, желая порадовать глаз и создать какой-то совершенный город. Все здесь было благородно и роскошно. Я узнал вдруг те самые героические места, где так хотелось мне жить. Все здесь казалось приспособленным для великих деяний, о которых я грезил и которые выполнил бы одетый в пышные одежды, ибо в таком городе, конечно, не могло быть каких-нибудь вульгарных людей. В самом деле, ни одной лавки не было видно поблизости от дворцов и ничто не говорило о том, что здесь занимались убогими реме-

слами и нашею жалкой торговлей. Стук молотка сапожника был бы здесь совсем не к стати!.. Невозмутимая тишина делала еще более величественной эту декорацию, пред которой я стоял очарованный и упоенный.

Я простоял бы так, с разинутым ртом и опущенными руками, всю свою жизнь, если бы неожиданный шум не вывел меня из задумчивости. Тяжелые шаги заставили меня оглянуться, в то же самое время послышалось ужасное ругательство, и отец Джироламо с дубинкой в руке появился наверху лестницы. Джироламо не имел времени избежать опасности: родительская рука схватила его за ухо, а дубинка заработала и наказала сына по заслугам. Быть может, мне, как будущему герою, следовало бы поспешить на помощь к избиваемому и разделить его участь, но выше уже было упомянуто, что не пришло еще мое время унести с собою из Олимпийского театра жгучие воспоминания, и в то время как Джироламо вырывался из рук отца, как настоящий чертенок, я воспользовался суматохой и скрылся.

Несмотря на неприятность, испортившую мой визит в Олимпийский театр, посещение его произвело на меня неизгладимое впечатление. Целые недели не проходило это ошеломление. Я мог думать только об одном, о том чуде, которое мне недавно явилось, и я все сильнее восхищался родною Виченцой, при мысли, что в ней находилось это волшебное место, мелькнувшее передо мной на мгновение. Сильнее чем когда бы то ни было, мозг мой был одурманен желанием славы, и, усевшись на тумбу, свесив вниз ноги, лицом к лицу с дворцом Вилларчьеро, я попрежнему продолжал питать ветром и облаками свои возвышенные и вздорные фантазии.

* * *

В ту пору, когда мне должно было исполниться четырнадцать лет, произошло событие, последствия которого оказались столь для меня важными, что я прошу позволения распространиться о них несколько подробнее. По случаю свадьбы одной из своих племянниц, граф и графиня Виллар-

чьеро решили устроить большое увеселение для вичентской и всей окрестной знати. Хотя матушка мысленно не один раз присутствовала на празднествах, справлявшихся у турецкого султана, однако, известие о празднестве во дворце Вилларчьеро заинтересовало ее чрезвычайно, и вы легко поймете, что и я с своей стороны не мог остаться безучастным. В течение нескольких дней, предшествовавших церемонии, я почти совсем не слезал с своего наблюдательного пункта, а все происходившее во дворце Вилларчьеро становилось предметом моего усиленного внимания. День за днем я следил со стороны за приготовлениями. Они были весьма замечательны. Воздух стонал от непрерывного шума. Молотки декораторов заглушали молоток отца, так как на дворцовом дворе возводили временный театр, где должны были выступать шуты и музыканты. Знаменитый импрессарио Капаньоле, чья трагическая и комическая труппа гремела по всей Италии, получил поручение устроить эту часть праздника.

Вот почему довелось мне тут впервые увидеть синьора Капаньоле, позже сыгравшего такую значительную роль в моей судьбе; тогда он показался мне маленьким, сухим, черным человеком с быстрыми движениями, узким насмешливым лицом, с таким носом, как будто он был у него от природы наклеен, а из-за носа пронзительные и близко поставленные друг к другу глаза его поблескивали страшным огоньком, — его, видимо, побаивались.

Я мог бы вам назвать по порядку всех, кто входил и выходил из дворца Вилларчьеро по случаю приближения этого исключительного дня. Наконец он наступил. Вечером замок великолепно осветился. Весь фасад был иллюминирован канделябрами и плашками; в железные кольца были вставлены большие смолистые факелы, отбрасывавшие яркий свет, так что все было ясно как в полдень и для меня не пропала ни единая деталь этого зрелища. Оно было великолепно. Улицу Поццо Россо заполнили кареты, двигавшиеся гуськом и с трудом прокладываявшие себе дорогу в толпе зевак, занявших все подступы ко дворцу. Больше часу из карет выходили роскошно одетые дамы и мужчины в нарядных костюмах.

Публика аплодировала наиболее богато одетым парам. Были такие, что приехали из Падуи и Вероны и даже дальше; все эти аристократы с грациозными и манерными ужимками исчезали во дворце, приветствуемые звуками музыки. Все это время я стоял, вытянув шею, у окна, куда поместила меня рядом с собой моя матушка. Она смотрела на всю эту пышность рассеянным взглядом. По одному виду было заметно, что мысли ее были далеко от нас. Уже давно она мысленно покинула нас и вмещалась, должно быть, под каким-нибудь вымышленным именем, в блестящую толпу, наполнявшую залы и галереи дворца Вилларчьеро. Такая игра воображения была для нее привычной. Она объяснялась не презрительным отношением к собственному положению и не тщеславием — это был результат особой склонности души, стремившейся к тому, чтобы украсить жизнь всякого рода фантазмагориями. Способность эта доставляла ей великие радости, и я вовсе не был склонен усматривать в ней какую-либо опасность, равно как не мог предвидеть и того, что невинное, мучившее меня желание славы сделается однажды несчастьем всей моей жизни. Впрочем, мать моя, пока что, была в полном восторге от праздника, в котором она участвовала силой своего гибкого воображения, тогда как сердце мое, увы, снедала тоска, ибо сильнее чем прежде представлял я свою незаметность и ничтожество в глазах этих богато-одетых людей с собственными каретами. Почему небо, даровав мне родителей, от которых я явился на божий свет, не исправило своей ошибки и не послало мне блестящих дарований? Я страдал за свое происхождение. Имя Тито Басси, которое мне приходилось носить, казалось мне довольно-таки жалким. Пусть бы еще мои родители постарались украсить его блеском какого-нибудь замечательного подвига, но, увы, одному мне, только мне предоставили они дело его прославления. Я, понятно, нисколько не сомневался, что так оно однажды и будет, но такого рода необходимость не оставляла меня все же спокойным, и я выпускал подчас очень глубокие вздохи.

Между тем наступила ночь, и отец мой уже давно ушел спать. Мать несколько раз пробовала отправить меня в постель, но я упорно отказывался. Выбившись, наконец,

из сил, она решила, что пойдет к себе в комнату, и взяла с меня слово, что я тоже отправлюсь к себе, как только последние кареты отвезут последних гостей. Когда это действительно произошло и последняя запряжка уехала со двора, у меня осталась возможность посмотреть на выход господ актеров и музыкантов, что я и не преминул сделать. Мне представился случай еще раз увидеть знаменитого синьора Капаньоле, уходившего домой вместе с труппой музыкантов и лицедеев.

Теперь праздник был совсем окончен. Было уже далеко за полночь. Канделябры и плошки стали угасать, освещение было видно только в нескольких окнах. Я увидел, как одно за другим потемнели и они, как фасад дворца Вилларчьеро исчез в темноте, которая в эту ночь была совсем непроглядной. В эту минуту, когда ничего уже не осталось от зрелища, вызвавшего во мне столько восторга и печали, я перебирал в памяти отдельно его детали. Разумеется, я отлично мог проделывать это, лежа под одеялом, но ожидание чего-то необычайного удерживало меня у окна. Я простоял так, сам не знаю какое время и несомненно день застал бы меня за этим раздумьем, как вдруг какой-то необыкновенный свет остановил на себе мое внимание. Что такое случилось во дворце Вилларчьеро? Внезапно одно из окон озарилось снова, потом другое, третье. В то же самое время до моего носа донесся запах дыма. Я смотрел и от изумления ничего не понимал. В ту же минуту я услышал звон разбитых стекол и длинное пламя миглом лизнуло фасад дворца, осветив красным пурпуром движение одной из статуй фронтона. При виде этого я испустил крик. Дворец Вилларчьеро горел, но ни хозяева, ни спавшие слуги не замечали грозившей опасности. Тогда, высунувшись из окна, я стал исступленно орать во весь свой голос, желая оповестить соседей:

— Во дворце Вилларчьеро пожар, пожар во дворце Вилларчьеро!

Родители мои, внезапно разбуженные моими криками, сразу вскочили с постели. В одно мгновение ока улица наполнилась народом, тревога передавалась из дома в дом,

весь квартал был на ногах. Узнав о несчастье, каждый наскоро одевался и бежал. Кто тащил лестницу, кто ведро, но помощь налаживалась очень плохо, и неописуемый беспорядок царил в взволнованной толпе. Большинство ограничивалось тем, что в изумлении, с широко раскрытыми глазами, смотрели на разгоравшийся пожар. Он распространялся с страшной силой и, должно быть, бушевал внутри, так как пламя появлялось из окон и отовсюду слышалось непрерывное шипенье и треск. От острого запаха дыма становилось трудно дышать. Вдруг одна и та же мысль пронизала сознание зрителей. Где находятся граф и графиня? Удалось ли им спастись по черному ходу, как успели сделать это слуги? Или их похоронило пожарище?

Все с беспокойством переспрашивали друг друга, то скливающее чувство сжимало все сердца, когда вдруг главная дверь распахнулась и в красноватых отблесках показались граф и графиня. Они были в ночном туалете: у графини батистовый чепец на голове и простой плащ, наброшенный на плечи; граф был в халате, без парика, голова повязана индийским фуляром, но и в этом простом наряде они сохраняли такое достоинство и приличие, что никому и в голову не пришло улыбнуться, и все почтительно поклонились, когда граф, предложив руку графине, переходил с ней улицу, чтобы укрыться в нашей лавке. Матушка, стряхнув с себя на минуту свои фантазии, вспомнила, должно быть, что в свое время состояла на службе у графини и встретила ее глубокими реверансами, а отец стал предлагать им сесть, как если бы они явились снимать мерку для какого-нибудь важного заказа.

Вы поймете, с каким интересом наблюдал я всю эту необыкновенную сцену, но вот графиня стала вдруг обнаруживать признаки большого волнения, которое вскоре перешло в слезы и в забытие. Она то совсем замирала и впадала в безысходное отчаяние, то вставала и, осушая глаза платком, стонала и раздражалась жалобами. Вскоре я разобрался в причине ее исступления. Взволнованная пробуждением среди ночи, убегая впотьмах из горящего дворца, графиня забыла взять с собой любимого мопсика, божественного,

несравненного Перлино. Бедное животное, спавшее в будке из сатина, осталось в комнате, куда его запирали на ночь. При мысли об этом стенания графини делались все сильнее.

Мы все слушали ее в почтительном молчании, как вдруг матушка порывисто поцеловала руку графини и выбежала вон из лавки. Она быстро прошмыгнула сквозь толпу любопытных, отстранила ряды сбиров нашего подеста, которые, не зная, как помочь горю, стояли и смотрели на разгорающийся огонь, и, бегом пробежав через ворота, скрылась внутри дворца, где пламя бушевало с страшной силой. Увидев это, отец разразился крепким ругательством, единственным, какое я от него слышал, и той же самой дорогой бросился следом за матерью, и никто не успел удержать его.

Позже я не раз спрашивал себя, что случилось тогда с моей матерью? Быть может, она стала игрушкой столь обычных для нее фантазий? Быть может, ей показалось, что волшебные силы обратили ее в какую-нибудь саламандру, закаленную в борьбе с огнем, или в ней вдруг снова проснулось воспоминание о своей прежней службе и она вновь поддалась привычке повиноваться, которая в течение долгих лет научила ее предупреждать малейшие желания графини? Мне это осталось неизвестным, я знаю только, что чувствовал себя ошалелым и уничтоженным и вместе со всей толпой дрожал за жизнь двух безумцев, отважившихся войти в пылающий дворец, перед которым я сам закрывал глаза от страха.

Громкий крик ужаса, вырвавшийся из многих сотен грудей, заставил меня открыть глаза, и я, в свою очередь, как пуля, вылетел из лавки. В один прыжок я очутился на тумбе и увидел оттуда следующее. В одном из окон дворца Вилларчьеро, черневшем на фоне красноватого зарева, показались отец и мать, матушка держала за шиворот мопсика графини и просунув руку через железные прутья, протягивала наружу лаявшее животное. Сама она и отец оказались во власти пламени, отрезавшего им обратный путь: ничто не могло уже более спасти их от ужасной смерти. В эту минуту два сбира приставили лестницу к стене и в то время, как один из них брал из рук матери собачку, пол залы,

в которой находились мои несчастные родители, с чудовищным грохотом обрушился у них под ногами и они полетели в вихрь огня и дыма. а я, почувствовав вдруг, как тело мое стало тяжелым и жидким, будто расплавленный свинец, свалился с тумбы, вытянув руки, носом прямо в канаву.

* * *

Когда я пришел в себя, я увидел, что лежу на очень чистой постели; голова моя была обложена подушками и обмотана полотняной повязкой; боли я не чувствовал, но слабость была такая, что держать глаза открытыми было для меня трудно. Я не только не узнавал места, где я находился, но не припоминал и обстоятельств, при которых туда попал: мозг мой представлял из себя какой-то мучительный хаос. Тем не менее я старался всмотреться в окружающие предметы в надежде, что память моя понемногу прояснится. Комната, в которой я лежал, была довольно хорошо обставлена. Кроме кровати, в ней находился большой стол, заставленный бутылками и лекарствами и два хороших кресла, обитых коричневой кожей.

На стенах были развешаны изображения святых. Приоткрытая дверь вела в соседнюю комнату. Не было слышно никакого шума. Я был очень слаб и собирался было заснуть, не продолжая дальше своих наблюдений, как вдруг с улицы до ушей моих донесся далекий собачий лай.

Этот лай произвел на меня необыкновенное впечатление. При первом звуке его ко мне вернулась память. Сразу вспомнилась мне злополучная ночь, пожар дворца, слезы графини, безумное благородство моей матушки, бросившейся в огонь и увлекшей за собой отца искать забытого мопса, трагическое появление обоих за оконными перекладинами, животное, просунутое наружу, отец и мать, провалившиеся в глубину пожарища. Воспоминания эти были так сильны и так мучительны, что я прижал руки к глазам и испустил отчаянный крик.

На мой крик открылась дверь и ко мне подбежал аббат Клеркати.

Он склонился над моей постелью и, не переставая, повторял одни и те же слова:

— Тито, мой бедный Тито!

И оттого, что он взял мою руку и тихо проводил своею рукой по моему лбу, я стал горько плакать; аббат повторял все время:

— Тито, мой бедный Тито!

Когда первый приступ отчаяния прошел, я узнал от аббата Клеркати обо всем, что случилось со времени роковой ночи. Когда пожар потух, разрушив всю внутренность дворца, от которого уцелели, благодаря прочности постройки, одни лишь стены, не было найдено никаких следов отца моего и матери. Итак, я остался круглым сиротой. Мало того, пережитое мною волнение и падение с высокой тумбы оставили серьезные последствия. Я был сильно болен, так что даже опасались за жизнь, но теперь опасность миновала, и можно было ручаться за выздоровление. Теперь мне нужен был только покой. Добрый аббат брал на себя заботу об этом, подобно тому, как и раньше, он наблюдал за уходом, которого требовало мое состояние. Что касается будущего, то мне не следовало вовсе беспокоиться. Конечно, я не мог рассчитывать на наследство родителей, ибо дела их оказались в большом расстройстве: матушка их совсем запустила, а отец, по свойственной ему щепетильности, всегда докладывал от себя при исполнении заказов. Впрочем, добрый аббат согласился заботиться о моем содержании и предоставить мне помещение, уговорившись об этом с графом и графиней Вилларчьеро, решивших отплатить благодеянием за прекрасный поступок матушки, которая пожертвовала жизнью ради маленького мопса, уцелевшего от опасности и отделавшегося только вывихом одной лапки и несколькими порывавшимися от огня волосками.

К этим уверениям, добрый аббат Клеркати прибавил много других милых вещей и, между прочим, сказал, что, не колеблясь, взял бы на себя эти заботы и вовсе не потому только, что этого желали граф и графиня Вилларчьеро, а в память о моих добрых родителях и собственного сердечного расположения. Физиономия моя всегда казалась ему очень

занятой, и он чувствовал влечение к моей скромной персоне. Аббат был обо мне хорошего мнения и был убежден, что я приложу все усилия, чтобы прилежанием и хорошим поведением порадовать его и оправдать его заботы о моем воспитании. С своей стороны, он будет изо всех сил стараться предоставить мне возможность занять приличное положение в обществе. Стоит мне проявить охоту, и он гарантирует, что в его школе я сделаюсь хорошим латинистом, кроме того, он сообщит мне все необходимые сведения, и я смогу, таким образом, извлечь пользу из тех знаний, которые от него получу. Вкусы мои отнюдь не были низменны, и я вовсе не имел склонности заниматься каким-нибудь ремеслом; почему бы мне не попытаться усвоить почтенных античных авторов и не приобрести умения преподавать их в свое время другим? Почтенный аббат считал меня вполне пригодным для такого дела. Нрав у меня был кроткий, характер благоразумный, я отличался молчаливостью, сдержанностью и не имел никакого пристрастия к дурной компании.

После этих ободряющих слов аббат Клеркати высказал еще много всяких утешений по поводу понесенной мною двойной утраты, порекомендовал мне не терять терпения и спокойствия и затем покинул меня. По его уходе я залился горячими слезами и под конец уснул. Немного дней спустя я уже начал вставать и мог сделать несколько шагов и дойти до кресла. Выздоровление мое шло довольно быстро и через месяц после рассказанного мною фатального события я почти совсем уже оправился.

* * *

Здоровый организм взял верх над поразившим меня суровым ударом. Как только состояние мое позволило мне заниматься, почтенный аббат счел своим долгом приступить к исполнению обещанного и начал давать мне уроки. Я слушал их со всем вниманием, на какое вообще был способен. Уроки казались мне слишком короткими, потому что вызвали во мне горячий интерес. Но вся жизнь, которую я вел, произвела во мне значительные перемены. Насколько прежде

я любил лениться и гулять, настолько теперь я выказывал себя усидчивым и прилежным. Аббат Клеркати жил на улице Калонегга в двух шагах от собора. Он отвел мне очень хорошую комнату на самом верху, и я провел в ней лучшее время своей жизни. Колокола собора отзванивали мне часы, которые протекали очень быстро, и у меня совсем не было желания выходить из дому. Ничто не тянуло меня на волю. Вместо того, чтобы, как прежде, слоняться по городу, я предпочитал проводить время за столом иногда с книгой или с пером в руках, иногда просто свесив руки и погрузившись в глубокую задумчивость.

Как-то раз я сидел у себя и готовил уроки, как вдруг ко мне явился от аббата мальчик-слуга и известил, что меня внизу спрашивают. Иногда аббат присылал за мной и делился со мной разными лакомыми кусочками, так как он был большой сластена, и набожные женщины Виченцы, зная эту слабость, делали ему обильные подношения. Я готов был повиноваться, не подозревая вовсе о том, что меня ожидало, ибо войдя в залу, я к удивлению своему неожиданно оказался в присутствии графа и графини Вилларчьеро.

Со времени пожара дворца, граф и графиня удалились на свою прекрасную виллу в горах, но довольно часто спускались в Виченцу для присмотра за ремонтом, который повреждения от пожара заставили произвести во дворце на улице Поццо Россо; сегодня их осенила мысль лично явиться и справиться о здоровье их юного протеже.

Когда аббат Клеркати отметил, какую необычайную милость и честь мне оказывали, я отвесил глубокий поклон и почувствовал, что мной овладела непреодолимая робость. Пусть бы лучше я был засыпан развалинами дворца Вилларчьеро, нежели стоять так лицом к лицу с графом и графиней—такими важными показались они мне вблизи. Граф выглядел важным, благодаря своему крупному сложению, надменной mine и роскошной одежде. И действительно, с каким великолепным видом восседал он в своем кресле, скрестив ноги, и поставив между ними палку с золотым набалдашником; каким величавым движением касался он тяжелой табакерки с крышкой из яшмы! Еще сильнее под-

черкивал его гордую осанку огромный парик на старинный манер, облежавший его голову, спускавшийся на плечи, осыпавший пудрой воротник его пунцового бархатного фрака. Графиня, тоже сидевшая в кресле, была не менее величественна, благодаря роскошной осанке, внушительной прическе, корсажу, переплетенному лентами, пышному платью и покрывавшим ее драгоценностям. Вместе они производили впечатление чего-то в высшей степени благородного. Слышно было, как на улице били ногами землю лошади, запряженные в карету, которая привезла их сюда и которая сейчас повезет их обратно на виллу, под грохот колес, стук копыт и под шелканье бича.

Несмотря на то, что граф и графиня смотрели на меня ласково и сочувственно, смущение мое все же не знало границ; оно перешло в полное замешательство, когда на руках у графини я заметил пушистый шар, который бешено ерзал, поводил вытаращенными глазами, царапал и перебирал лапами—в нем я узнал любимого мопса графини, забытого в горевших комнатах дворца и причинившего мне столько горя. Должен сознаться, что вид этой зловещей моськи вызвал во мне самое тягостное волнение. Мне почудилось, что я снова вижу, как она барахтается в руках матушки, показавшейся за перекладинами решетчатого окна. Не для спасения же этого зловредного мопса бедная женщина бросилась в пламя и увлекла за собой перепуганного отца? Страшная картина встала опять перед моими глазами. Я снова слышал шипение пожара, его рокотание и треск, крики ужаса, вырывавшиеся из толпы. Воспоминания, теснившиеся в моем уме, были столь нестерпимы, что я едва мог держаться на ногах и, казалось, вот-вот упаду в обморок, в то самое время, как глазами, полными слез, я смотрел на противного мопса, которого хозяйка спустила на землю; он потягивался, из его слюнявого рта свисал язык, похожий на искру. Неужели, говорил я себе, эта дрянная моська стоила того, чтобы заплатить за нее жизнью двух добрых христиан? Неужели из-за этого нескладного животного погибли мои родители? Из-за этой паскудной мартышки Перлино, который бесстыдно поднял лапу около ножки кресла и усердно и обильно ее поливал?

Впечатление это было чересчур сильно и оно не позволило мне ответить на любезные слова, обращенные ко мне графом. Любуясь все время на беспардонного Перлино, которого аббат угощал лакомствами, граф не переставал беседовать со мной самым вежливым образом. Выразив свое удовольствие по поводу моего выздоровления, он принялся хвалить моих покойных родителей и особенно матушку, чей героический поступок свидетельствовал об истинно благородной душе. Каких восхвалений не был достоин столь доблестный подвиг? Не скромному ли мужеству моей матери была обязана графиня спасением драгоценного, обожаемого ею Перлино, ее любимой собачки? Конечно, мне оставалось только согласиться с ним, и хотя я сделал это, должно быть, несколько вынужденным образом, поведение мое скорее понравилось графу, который к двум-трем любезным словам в ответ на сообщение аббата о моих склонностях и усердной работе прибавил бы, конечно, еще кое-что, если бы мопс предоставил ему нужное время, но Перлино начал лаять, выказывать нетерпение и направился к двери, и вышло так, что, под музыку этого пронзительного тьяканья, которому они не подумали воспротивиться, граф и графиня добрались до своей кареты, откуда маленькая моська, просунув нос через оконце, не переставала неистово лаять до тех пор, пока я, наконец, потерял ее из виду.

* * *

Посещение графов Вилларчьеро привело меня в чрезвычайно грустное настроение. Оно снова оживило в памяти печальные события, которые стали было понемногу сглаживаться. Хотя героизм матушки, столь расхваленный графом, оказался по существу бесполезным, тем не менее он был все же замечателен и являлся жестоким напоминанием о моем собственном бездействии и нерешительности в ту трагическую минуту, когда мать моя выказала отвагу, столь чуждую ее полу. Разве не должен был я тоже броситься за нею в пламя, следуя примеру отца, который, если можно так выразиться, не отстал от нее ни на пядь? Более того, не подобало ли

мне предупредить ее и пойти самому спасать мопса графини? Вместо этого я остался на месте и упал в обморок. Что же, такое поведение достойно человека, жаждущего славы и отличий? Какую же роль я, так часто мечтавший о самых воинственных приключениях, сыграл во всем этом деле? Не оказался ли я просто-напросто малодушным трусом, и неужели так будет и впредь в течение всей моей жизни?

Мысль эта заставила меня покраснеть до ушей и наполнила меня невыразимым стыдом. Вскоре она сделалась единственной моей заботой и отравляла мне каждую минуту жизни. Она занимала меня во время уроков и не покидала даже во сне. Всюду она меня сопровождала. Я постоянно себя допрашивал и вел наедине с самим собой нескончаемые беседы и споры. Я прерывал их только для того, чтобы подолгу рассматривать себя в зеркале. Я обследовал свое лицо с исключительной внимательностью. Я старался прочесть на нем, какой вид у меня будет, когда, представится, наконец, какой-нибудь опасный и страшный случай. Все мои героические мечтания приходили мне на память. Неужели же я навсегда останусь в рядах ничтожных людей, или я все-таки сумею выказать себя однажды равным всем тем, кого слава венчает своими лаврами?

Последняя мысль приводила меня в ликование. Воображение мое, которое сдно время пребывало в покое, начинало снова работать. Я с наслаждением выдумывал тысячи испытаний, из которых выходил с честью. Я мысленно поздравлял самого себя, и поздравления своим будущим высоким деяниям до некоторой степени искупали в моих глазах то жалкое поведение во время пожара, за которое я так горько упрекал себя. С полной искренностью я выжидал случая доказать самому себе, что сокрушавшая меня слабость еще не была непоправимой, и всеми силами души я призывал к себе такой случай.

* * *

Между тем проходили месяцы и годы, а я все был недоволен собой, тогда как аббат, наоборот, выказывал свое удовле-

творение. Я, действительно, сделал большие успехи и начал разбираться в своей латыни. Всякий день аббат, бывало, хвалил мое прилежание и кротость. Я был очень внимателен на уроках и со времени своего водворения у него беспрерывно доказывал свою благодарность неизменным постоянством в работе. Он относился ко мне дружески и доброжелательно, ценя мою любовь к учению и мой спокойный характер. Добрый аббат был бы весьма озадачен, если бы мог подозревать, что творилось в голове у взрослого юноши, каким я уже стал, ибо мне исполнилось семнадцать лет и я выглядел совсем мужчиной. Но ничто в моей внешности не выдавало внутреннего беспокойства, которое мною владело.

В словах моих и манерах было много спокойствия и добродушия, и никто никогда бы не подумал, видя как важно и положительно я взбирался по сельским склонам Монте Берико с книгой в руках и с опущенными в землю глазами, что сердце молодого эрудита, начиненного латынью и отправлявшегося обдумать под сенью деревьев своего Вергилия или Цицерона, горело жаждой подвигов, а мозг его был наполнен тысячами небылиц.

Монте Берико был любимым местом моих прогулок; я предпочитал его пустынность улицам Виченцы, где появление мое, как я заметил, вызывало взгляды, не лишённые некоторой насмешливости. Иной раз поворачивались и смотрели мне вслед чьи-то любопытные головы и я истолковывал это нелестным для себя образом. Я задавал себе тогда вопрос, чем, собственно, вызывалось производимое мною впечатление, и мне трудно было усумниться в его природе, я не находил ему объяснения ни в поведении своем, ни в своей одежде. Походка у меня была скромная, костюм простой и приличный. Я не старался обращать на себя внимания ни движениями своими, ни платьем. Я не делал ничего такого, что могло бы броситься в глаза или вызвать улыбку, и тем не менее я чувствовал, как чужие глаза следили за мной с какой-то иронией, далеко не безразличной для меня. Это меня стесняло и поэтому, как уже было сказано, я предпочитал городским прогулкам загородные экскурсии на Монте Берико.

Я взбирался туда почти ежедневно, так как добрый аббат Клеркати потребовал, чтобы я отдыхал от своих занятий и ежедневно делал какой-нибудь моцион. Часто, не заходя далеко, я усаживался у подножия дерева, иной раз делал довольно большие прогулки на чистом воздухе. Иногда я заходил в церковь Мадонны дель-Монте и преклонял колени на ступеньках алтаря, но снова, незаметно для самого себя, я возвращался к моим обычным мечтаниям; снова я забирался под любимое дерево, откуда я видел Виченцу, торжественно открывавшуюся моим глазам.

Я подолгу смотрел на нее. Взгляды мои переходили от базилики Палладио к куполам ее церквей, потом снова оставались на ее изящной, точеной кампаниле, и устремлялись на улицы и площади, видные так хорошо, как если бы передо мной был раскрыт план города; зрелище это вызывало во мне странные мысли. Иной раз я тревожно выслеживал, не закружится ли дым над одной из крыш и не видно ли где-нибудь пожара. О, если бы это случилось, с какой быстротой сбегали бы мои ноги вниз по горе. С какой отвагой бросился бы я в пламя, хотя бы только для того, чтобы испытать свою храбрость! Я выдумывал еще много других способов проявить ее самым блестящим образом! Я представлял себе, что Виченца осаждена неведомым неприятелем, доведена до голода, впала в жесточайшие испытания. Мне казалось, я вижу, как бомбарды посылают в нее тяжелые ядра. И вот появлялся я, подымал дух ее жителей, становился во главе всех, увлекал их вслед за собой и со шпагой в руке бросался в самую гущу сечи, выручая из опасности свой родной город. И какого триумфа удостоивался я за свои великие деяния! Мне чудилось, что я присутствую при своем победоносном вступлении в Виченцу. Среди безумствующей толпы я прохожу по улицам, расцвеченным флагами, по площадям, усыпанным зелеными ветвями. Колокола звонят во всю мочь. Подеста низко склоняется передо мной. Меня проводят в базилику и там возлагают на голову лавровый венец.

А то я питал еще другую заветную мечту. Я с удовольствием рисовал себе траурную картину Виченцы, опу-

стошенной, оглашаемой рыданиями. Свиристует страшная чума. Длинные ряды тележек провозят обезображенные трупы. Милосердные братства не могут справиться со своим погребальным делом. Но я — тут! Я беру в свои руки распоряжение всеми мерами помощи, необходимыми для подавления бедствия. Я ухажу в них с головой, я разрываюсь на части. Ночью я изобретаю лекарства и усилия мои увенчиваются успехом. Больные поднимаются со своих постелей. Болезнь прекращается. Виченца оживает и приветствует во мне своего благодетеля и спасителя.

Когда я пробуждался от этих честолюбивых бредней, то, снова взглянув на себя, я еще тяжелее переживал свое настоящее положение. Что такое я, по сравнению с фантастическим персонажем, которого я подставлял на свое место? Безродный и небогатый скромный малый, живущий по милости доброго аббата Клеркати и высокому покровительству графа и графини. Лишат они меня этого, и что станет со мной, когда все мои ресурсы заключались в латыни и в кое-каких познаниях, накопившихся от занятий? Впрочем, неопределенность моей судьбы печалила меня еще не так сильно. И не забота о моем будущем материальном благополучии мучила меня острее всего. Нет, больше всего меня удручала пошлость и банальность моей жизни. Неужели я осужден проводить тусклые и унылые однообразно бегущие дни, тогда как с самого детства я только и делал, что мечтал о героических и чудесных приключениях; мечтал, желая найти случай изгладить в душе тяжелое воспоминание о том, что сам называл своею трусостью и что не переставало преследовать меня муками раскаянья со времени той роковой ночи, когда на моих глазах мой отец и мать погибли на пожаре дворца Вилларчьеро? И неужели же никогда не представится случай доказать самому себе свою храбрость и приобрести тем самым в глазах других ту славу, которой я так гордо и так наивно добивался?

Желание это было до того сильно и столь простодушно, что в иные дни я выходил из дому в твердой уверенности, будто час мой настал, и я вернусь домой не иначе, как совершив подвиг, ожидание которого поддерживало во мне

своеобразную лихорадку великодушия. Я бродил; а сердце было переполнено бесстрашными намерениями. Я бросал направо и налево беспокойные и решительные взгляды, но по необъяснимой несчастной случайности в этот самый день происходил какой-нибудь маленький курьезный факт, расстраивавший мои благородные намерения. Очень часто это бывал смех прохожего, который сразу возвращал меня к действительности. Правда, иногда случалось так, что, весь уйдя в свои мысли, я начинал жестикулировать и громко говорить, что весьма потешало окружающих и побуждало их по своему высказывать свое удовольствие, чего я вовсе однако, не разделял и охотно дал бы волю своему гневу, если бы не считал более достойным беречь свои мощные силы для более высоких задач.

Но вот в один прекрасный день, я решил, что наступил момент, когда я, за неимением ничего лучшего, мог, по крайней мере, испытать на деле свои мужественные намерения. Однажды во время прогулки по Падуанской дороге я увидел всадника, приближавшегося ко мне бешеным галопом. Казалось, он потерял всякую власть над лошадью и размахивал руками с видом полного отчаяния. Увидев это, я принял быстрое решение и сознательно стал на самую середину дороги в намерении подскочить к мчавшейся лошади. И вот, прежде чем она успела очутиться около меня, я бросился к ее морде и сделал это так удачно, что сумел ухватить ее за уздечку. Протащив меня немного по пыли, животное остановилось, и сердце мое, несмотря на то, что я был совсем измят, преисполнилось гордостью. Но пока я подбирал с земли свою шляпу, ожидая естественного в подобном случае выражения благодарности, на меня посыпались страшные проклятия и самые грубые ругательства. Какого чорта лезу я останавливать всадников, упражняющихся в верховой езде, рискуя при этом выбить их из седла и переломать себе ноги? „Что за олух, и что за дурацкое выражение лица! Какой глупый вид! На вас мною будет подана жалоба подеста...“ И английский милорд, галопу которого я так неудачно помешал, снова двинулся по дороге в Виченцу, покраснев от гнева, обозвав меня еще раз дураком и

выразив сожаление, что не успел украсить мою физиономию хорошей затрещиной.

Этот прискорбный подвиг мог послужить мне хорошим примером, но у меня было столь сильное желание стать во что бы то ни стало героем, что он всего только подсказал мне надежду на другой более подходящий случай. Я было совсем решил, что он мне уже представился, когда, проходя как-то мимо фермы, я услышал громкие крики, заставившие меня побежать к месту, откуда они доносились. Крики эти испускал один нищенствующий монах из числа тех, что ходят от одних дверей к другим и набивают свои мешки. У него произошла схватка с огромной и страшной собакой, которая схватила его за полу рясы. Ярость животного грозила большой бедой несчастному малому тем более, что я сразу же решил, что собака была бешеная. Сообразив это, я схватил толстую палку, подвернувшемуся мне под руку, и с такой силой ударил животное, что от одного удара оно повалилось на землю. Я ожидал от монаха, как и от англичанина, выражения благодарности, но и на этот раз мне пришлось выслушать ругательства.

Чего ради лезу я убивать собак и по какому праву вмешиваюсь я в пути провидения? Если богу угодно, чтобы слугитель его погиб от укуса этого молосского пса, на каком основании осмеливаюсь я этому препятствовать? Если же бог вынес иное решение, то почему я непременно хочу сыграть роль во всем этом деле?

Комизм такой повторной неудачи меня несколько обезкуражил и навел меня на спасительные размышления, от которых мой благородный пыл сразу же охладел. Я понял, что на некоторое время мне следовало удовольствоваться положением воображаемого героя, пока, наконец, мое героическое призвание не натолкнется на обстоятельство безусловно подходящее. В ожидании этой улыбки судьбы мне оставалось мирно изучать свою латынь, к чему беспрестанно побуждал меня добрый аббат Клеркати. По его мнению, человек, основательно изучивший латынь, не имеет себе равного в мире. Добрый аббат считал знание этого несравненного языка единственным достойным смыслом челове-

ческого существования, и дружба, которую он ко мне чувствовал, целиком объяснялась моей склонностью к занятиям этим языком. Не проходило дня, чтобы он не произносил похвалы своей латинской науке и не гордился тем, что от него она переходит в меня и достигнет, с его помощью, большого совершенства. Поэтому он называл меня иной раз своим: *Exegi monumentum*¹⁾, как если б мне суждено было явиться увенчанием его педагогической работы.

* * *

К концу пятого года пребывания у аббата Клеркати я дождался, наконец, случая, когда мне открылась возможность подвергнуть испытанию усвоенную мной латинскую мудрость, воздать должное преподаванию учителя и в то же время выказать графу и графине Вилларчьеро признательность за все то, что они для меня сделали. Дело в том, что граф и графиня готовились праздновать в скорости свою серебряную свадьбу, и эта важная годовщина супружеской жизни должна была быть ознаменована торжественной семейной церемонией. Годовщина эта совпадала с окончанием крупных работ по ремонту, имевших место во дворце Вилларчьеро. От пожара уцелели одни только стены, так что пришлось отделать заново всю внутренность здания. Оставалось еще поставить на место необходимые украшения, после чего граф и графиня могли покинуть свою виллу на Monte Berico, куда они переехали после катастрофы, и вернуться в свое городское жилище.

Вилла Вилларчьеро, где собирались отпраздновать знаменательную дату, была одним из самых красивых благородных зданий, расположенных близ Виченцы. Стоя на склоне Monte Berico, она господствовала над обширным пространством по обе стороны города. Такой контраст сам по себе создавал очень живописный и редкий пейзаж, и жить в таком месте было настоящим праздником для глаз, так как там можно было наслаждаться прозрачным воздухом и чрезвычайно разнообразным видом. К этому следовало прибавить очарование роскоши самого тонкого вкуса как внутри

¹⁾ Начальные слова оды Горация (III, 30) „Памятник“: „Я памятник воздвиг“.

виллы, обставленной прекрасной мебелью, так и снаружи, где были разбиты окружающие со всех сторон сады, отделенные от дороги довольно высокой стеной с каменными фигурами весьма эффектной скульптуры. Уморительные изображения большеголовых карликов, наряженных в курьезные одеяния, забавляли прохожих и возбуждали смех, но стоило перешагнуть через главные ворота и место веселости заступало восхищение. Прекрасное расположение цветников подсказывало уму серьезные мысли, а благородные пропорции зданий настраивали на спокойный и торжественный лад.

Здания были невелики, но архитектор распределил их с высоким искусством, так что они производили пышное и вместе с тем грациозное впечатление. Внутренность вполне отвечала наружному виду постройки. Главным украшением виллы Вилларчьеро была галлерей, расписанная фресками, работы мессера Тьеполо из Венеции, изобразившего в картинах жизнь прославленной царицы Египта, Клеопатры. Персонажи, одетые в античные и восточные костюмы, придавали галлерее исключительно роскошный вид и делали ее весьма подходящим местом для приемов знатного и многолюдного общества; такое именно общество собралось при обстоятельствах, о которых я сообщаю, и присутствовало при событиях, о которых я собираюсь рассказывать.

Вилларчьеро пользовались большим уважением в Виченце, как люди очень богатые и важные. Вот почему большая часть представителей вичентской знати с большой охотой поспешили в назначенный день явиться засвидетельствовать им свое почтение и свои лучшие чувства. Результатом этого явилось то, что длинная вереница карет загромождала собой все под'езды виллы. Я обратил на это внимание в то время, когда мы вместе с милым аббатом Клеркати под'ехали, в свою очередь, к воротам и скромно высадились из одноколки, нанятой для этого случая аббатом. Я, конечно, отлично знал, что мы застанем графа и графиню в обществе, но я совсем не ожидал такого скопления публики, и эта неожиданность до того увеличила мою робость и мое замешательство, что бумажный свиток, бывший у меня в руках, задрожал в моих пальцах.

Надо вам сказать, что этот свиток был плодом моих долгих бдений, и я очень боялся за него, хотя добрый аббат Клеркати отзывался о нем с самой теплой похвалой. Он заключал текст латинской речи, которую я должен был прочесть графу и графине, речи, являвшейся началом и вступлением к церемонии, которая справлялась в тот день. Повторяю, речь эта стоила нам не мало бессонных ночей; и я и аббат соединили всю свою латинскую ученость, чтобы украсить ее самыми изысканными ораторскими оборотами и сделать ее достойною той роли, для которой она предназначалась. Каждая фраза была отточена и отшлифована, не было термина, который не был бы обдуман и взвешен. Что до содержания, то речь была исполнена самых горячих и деликатных похвал, как того и требуют сочинения этого рода, которым мы старались всегда сообщить самую утонченную цicerоновскую форму. Аббат Клеркати совершенно искренно считал эту речь шедевром, который ничем нельзя было попрекнуть, способным поразить и привести в восхищение даже самых непреклонных слушателей. И вот, этот самый образец красноречия мне надлежало сию минуту произнести перед графом и графиней.

Неудивительно, что едва я ступил ногой на землю, как сердце мое сильно забилося в груди, а смущение мое делалось сильнее и сильнее по мере того, как я, следуя за милым аббатом Клеркати, проходил во внутрь виллы. В это время галлерей была уже наполовину полна, а граф и графиня обращались то к одному гостю, то к другому с необыкновенною вежливостью и обходительностью, принимая приветствия, которые им приносили и отвечая на них самым учтивым образом. Аббат подошел к хозяевам, а я низко склонился перед ними, крепко зажав в руках свой свиток; затем в ожидании страшной минуты, когда мне надлежало произнести свою речь, я забился в угол и стал рассматривать картину, открывшуюся моим глазам.

Без сомнения, предо мной находилось такое благородное и многолюдное общество, что было от чего притти в смущение даже человеку развязному, но хотя блестящие наряды и высокое положение гостей меня весьма поразили, я был занят совсем другим зрелищем.

Мои глаза с восхищением остановились на фресках Тьеполо, покрывавших стены и потолок галлерей. Изображенные на них фигуры составляли собрание, грандиозное и великолепное, но совсем в другом роде, чем это, стоявшее тут, среди расписанных стен. И в самом деле, что значили все эти благороднейшие и прекраснейшие аристократы и аристократки Виченцы рядом с князем Антонием и царицей Клеопатрой! При первом взгляде на них все химерические грезы разом ожили в моей голове. Волшебною властью я вдруг оказался перенесенным в тот самый волшебный мир, к порогу которого меня так часто приводили мои мечтанья. Здесь, именно здесь, хотелось мне жить, — и я не мог насытиться созерцанием образов этих героев, за великолепную участь которых я охотно заплатил бы жизнью. Такие мысли преисполнили меня волнением и восторгом, и я утопал в блаженстве, как вдруг толчек локтем доброго аббата Клеркати возвратил меня снова к действительности и дал мне понять, что пришло время оторвать глаза от маршальского жезла, которым горделиво потрясал в воздухе князь Антоний, и заняться моим бумажным свитком.

— Ну, Тито, мужайся, дитя мое, и не забывай моих наставлений. *Macte animo, generose puer* ¹⁾).

И аббат Клеркати осторожно подтолкнул меня в спину.

Я сделал несколько шагов и очутился на свободном месте. Я почувствовал, что все глаза устремлены на меня. Перед собой на эстраде, увенчанной балдахином, я видел сидевших рядом в креслах графа и графиню. И хотя я стоял совсем близко, они казались мне очень далекими и маленькими. Мне казалось, что голос мой никоим образом не сможет достигнуть их ушей. Горло у меня сжалось. Голова закружилась. Мне хотелось, чтобы пол подо мной внезапно провалился, потолки обрушились, огонь вдруг охватил бы всю виллу или другое какое-нибудь неожиданное событие освободило меня от выступления, которое было мне не под силу. Потом мной внезапно овладело спокойствие и, словно

¹⁾ Мужайся духом, благородный отрок. *Виргилий, Энеида IX, 641.*

на моем месте вдруг очутился кто-то другой, я серьезно и не спеша развернул бумагу и стал читать вступление своей речи. Мне казалось, что я вижу ее перед собой написанной в воздухе и она говорила моим голосом без всякого усилия с моей стороны, так что, почувствовав себя почти ненужным, я стал наблюдать все, что происходило вокруг.

Именно тогда внимание мое было привлечено фигурой толстого человека, сидевшего в кресле, возле самой эстрады. Он был весьма неопрятно, но богато одет. Широкое круглое лицо поражало своей круглостью, маленькими пронзительными глазами почти без бровей и тройным подбородком. Сложив свои грязные руки на круглом животе, он слушал и удивленное выражение пробегало по лицу. Мало-по-малу удивление это перешло в совершенно определенное волнение. Так как поведение его меня чрезвычайно интриговало, я позабыл из-за него свою речь и пришел в немалое изумление, заметив, что речь моя кончилась. В то же мгновение прежняя робость вернулась ко мне, и мне почудилось, что я сейчас упаду в обморок. Я так был взволнован, что с трудом заметил любезный кивок головы, которым граф и графиня выразили мне свое одобрение. Я не мог отвести глаз от своего толстого человечка.

Он поднялся с кресла и устремился ко мне, прокладывая путь среди толпы приглашенных, почтительно расступавшихся перед ним. По почтению, которое ему оказывали, по его грязи, которую никто, как видно, не замечал, легко было принять его за какую-то важную персону, и мысль, что он может подойти ко мне, наполнила меня смущением. Я снова добрался до места, где стоял раньше и с большим удовольствием ушел бы в самую стену, но, увы, она была недоступна обыкновенному смертному. Она была красочным пристанищем цариц и героев. Один только божественный Тьеполо был властен прибавить туда лишнюю фигуру и, конечно, не фигуру жалкого декламатора в роде меня. Мне не пришлось таким образом уклониться от встречи с толстеньким человечком, который, видимо, был намерен говорить со мной. Подойдя ко мне, он решительно схватил меня за ворот, сильно встряхнул и обратился ко мне гро-

мовым голосом, стоя в польоборота к образовавшемуся вокруг нас кружку гостей:

— Нет, вы посмотрите на этого простофилю, вы думаете, он имеет представление о том великом даре, которым его отметили боги! Ну, так я вам его открою, я, Альвизо Альвениго! Несчастный, неужели же, читая свою речь, ты не слышал звуков своего собственного голоса? Невежда, ты значит и не подозреваешь, что он создан не для того, чтобы произносить банальные изречения, а чтобы декламировать возвышенные стихи, влагаемые поэтами в уста героев древности и мифологии. Не в этой вульгарной одежде должен ты выступать перед публикой, а в греческом панцире или в римской тоге.

Толстый человек выпустил меня из своих рук и повернулся к аббату Клеркати:

— А ты, аббат, как же ты не заметил того, что само лезет в глаза и в уши? Я полагаю, ты согласишься отдать мне этого малого. Я берусь из него кое-что сделать. Граф не станет оспаривать у меня это чудо природы, с которым он сам не знает что делать и которое ему совсем не нужно. Итак, решено, не правда ли? Завтра ты мне его пришьешь на виллу Ротонда.

А так как многие из присутствующих не имели сил сдержать свою улыбку, толстый человек бросил на них такой яростный взгляд, что за ними неминуемо должна была последовать хорошая перепалка, если бы хор, начавший свадебную кантанту в честь графа и графини, оставшихся, видимо, недовольными такой выходкой, — не положил, к счастью, конца всему этому.

* * *

Если бы составляемые мною записки были литературным произведением и преследовали иные цели, кроме заботы об истине, введение в рассказ персонажа, появление которого совсем не подготовлено и не предусмотрено прежде ни одним намеком, — оказалось бы несомненной погрешностью в отношении композиции, но в защиту свою могу сказать, что в данном

случае я ограничился подражанием самой жизни, не уберігающей нас от сюрпризов и незадумывающейся поставить нашу судьбу лицом к лицу с неожиданными событиями. Со мной именно так и произошло: случайная встреча с синьором Альвизе Альвениго должна была иметь для меня весьма важные и непредвиденные последствия. Поэтому будет вполне справедливо, чтобы карандаш мой слегка коснулся того, кто сделался судьей моей участи, и чтобы портрет его украсил собой фронтиспис главы, в которой он выступает.

Его милость Альвизе Альвениго принадлежал к весьма знаменитому венецианскому роду Альвениго, одному из самых прославленных и влиятельных в этом городе. Не раз уже его привлекали к несению ответственных должностей в Республике и, исполняя их очень усердно, он не отличался однако аккуратностью в делах. К ним у синьора Альвениго не было особенного вкуса, так что и от тех дел, которые являются особенно почетными для гражданина, ибо позволяют ему оказать значительные услуги государству, он освобождал себя, как только к тому представлялась возможность, и целиком отдавался своим удовольствиям. Главным из них были женщины и среди них он отличал тех, что имели отношение к театру. У синьора Альвениго почти всегда была какая-нибудь актриса любовница. Завсегдатай кулис, он с одинаковой страстью относился ко всяким сценическим произведениям, независимо от их характера. Большой поклонник фарсов, он выставял себя глубоким ценителем трагедий и претендовал на безупречное знание всего, что было написано в этом роде античными и современными авторами. Ходили слухи, что сам он сочинил тоже несколько трагедий, хотя открыто в этом не признавался.

Знатность, богатство, любовные похождения и причуды закрепили за Альвизе Альвениго репутацию оригинала, которой он гордился и которую поддерживал из тщеславия. Отличаясь необычайной небрежностью в одежде и выставяя напоказ свое презрение к общественному мнению, он ни за что на свете не осмелился бы поставить свое авторское самолюбие в зависимость от прихоти публики. Одна мысль

о свистке заставляла его бледнеть от бешенства, и поэтому он предпочитал не рисковать. Синьор Альвениго боялся смешных положений.

Кроме боязни быть освистанным — от чего он себя благо-разумно оберегал, — синьор Альвениго больше всего на свете боялся мысли о том, что когда-нибудь может быть обманут женщиной. Это опасение произвело однажды крупную перемену в жизни синьора Альвениго.

Безумно увлекшись некоей Деллинцоной, он вполне основательно приревновал ее и убил на дуэли ненавистного соперника. Такой акт мог бы иметь для другого человека самые печальные последствия, но синьор Альвениго отделался тем, что получил от магистратуры совет покинуть пределы Венеции под тем предлогом, что воздух лагун был вреден для его здоровья, а потому ему следовало переместить его на другой, более свежий и здоровый.

Синьор Альвениго понял смысл мудрого предостережения и, поразмыслив немного, решил обосноваться в Виченце, где приобрел себе на Monte Berico виллу под названием Ротонда, построенную нашим несравненным Палладио. Он поселился на ней в тот самый год, когда сгорел дворец Вилларчьеро, и с тех пор никогда не покидал ее. Он перенес туда свои античные бюсты и книги и стал жить как философ-отшельник, ибо претендовал на благородство и величие духа, стоящего выше всяких превратностей фортуны.

Философское уединение, в котором жил синьор Альвениго, не привлекло к нему симпатий вичентской знати, так как люди вообще не прощают, если кто-либо делает вид, что обходится без их общества. Вернее сказать, Альвениго тайно ненавидели и только не смели открыто высказать чувство, которое он вызвал. Несмотря на немилость, руки у него были длинные, к тому же ничто не вечно в этом мире, невечны и временные неприятности, в которые иные попадают. Удовольствовались тем, что называли Альвениго неисправимым чудачком. Посмеивались над неряшливой манерой одеваться, доходившей просто до грязи, над его одеждой, выпачканной чернилами, и его толстым носом, набитым табаком. Любили также почесать языки по поводу

неизбежной его слабости к театральному люду. И, действительно, через Виченцу не могла проехать ни одна труппа актеров без того, чтобы Альвениго не пригласил се к себе на виллу Ротонда. Он принимал их с большой пышностью и уверял, что хорошие актеры являются украшением свсего века и что он чувствовал больше гордости, когда приглашал к своему столу синьоре Капальоле, чем угощая самого подеста города Виченцы.

У этого-то странного человека мне надлежало отныне жить. Дело было решено под конец семейного праздника Вилларчьеро. Толстый Альвениго расспросил аббата Клеркати о настоящем моем положении и, узнав, что я всецело зависел от щедрости графа Вилларчьеро, велел попросить у того, чтобы я был к нему отпущен. Граф и не подумал отказывать: он был в восторге оказать таким образом услугу Альвениго, который, несмотря на свое изгнание из Венеции, имел там все же родного брата, служившего Проведитором Светлейшей Республики. Что до милого аббата Клеркати, то решение это очень его огорчило и довело его даже до слез. Он привязался к своему Тито Басси и очень сожалел о том, что я ухожу. Он пожелал лично проводить меня на виллу Ротонда. Я захватил с собой пакет с платьем, куда он сунул лучшего Виргилия своей библиотеки, и сдал меня на руки слугам его милости синьора Альвениго, предварительно настояв на том, чтобы я не забывал своей латыни.

* * *

В сопровождении двух этих молодцов, взявших у меня вещи, я в первый раз взошел вверх по лестнице виллы Ротонды. Не раз в течение уединенных экскурсий и прогулок по холмам Виченцы я восхищался этим шедевром нашего Палладио. С каким почтением смотрел я на четыре ее перистиля¹⁾, фронтоны которых опирались на гармонически-уравновешенные колонны. Эта четырехугольная колоннада составляла главную красоту здания, отличавшегося своим

¹⁾ Галерея с колоннами, идущая вокруг здания.

внушительным изяществом и благородной прелестью. Красивые сады окружали его своей ровной зеленью. Сколько раз я останавливался и любовался ими, но никогда не думал, что мне позволено будет проникнуть за ограду. И, однако, сейчас я переступаю порог виллы не как непрощенный гость, а как человек желанный, на которого возлагают большие надежды.

Мысль эта, должен сознаться, наполняла меня гордостью, отчего походка моя выиграла в уверенности, и я совсем твердым шагом стал ступать по широким плитам, слегка звеневшим под моими ногами. С таким же спокойствием я прошел большой зал, находившийся в самой середине виллы. Он был увенчан куполом таких непогрешимых пропорций, что от него исходило впечатление какой-то задумчивости. В зале не было других украшений, кроме римских бюстов на пьедесталах, поставленных вдоль стен. Между двумя такими бюстами я увидел сидевшего за широким столом его милость Альвизе Альвениго.

Я подходил к нему все ближе и ближе и не переставал с любопытством его рассматривать. Итак, значит, там сидел мой новый хозяин, от которого теперь зависило мое новое положение. Он показался мне точно таким, каким я видел его на вилле Вилларчьеро. Только теперь он сменил свой роскошный фрак на широкий халат, а парик свой на шапочку из черного шелка, прикрывавшую его большую лысую голову, но и шапочка и халат были запачканы совершенно такими же пятнами, как и парадный фрак. На одном из концов стола лежала открытая табакерка, откуда он взял щепотку табаку и, послав мне приветственный жест, заговорил громким голосом, рокотавшим в глубине звонкого купола:

— Ну, вот ты и пришел, Тито. Подожди, мой мальчик, и выслушай внимательно, что я тебе скажу. Если я не обманулся в своих догадках и если ты оправдаешь возложенные на тебя надежды, судьба твоя обеспечена. Даю слово Альвениго и клянусь, что завещаю тебе все свое состояние и буду обращаться с тобой, как с своим собственным сыном и ты им, действительно, станешь, потому что... Но пока что, дело не в этом... Сейчас тебе, Тито Басси,

достаточно будет знать, что, когда я слушал вчера, как ты читал свою дурацкую речь, мне вдруг стало ясно, какая высокая судьба тебя ожидает. И действительно, что может быть выше того, чтобы словом и жестом оживлять творения поэтов и в частности именно те, где перед нами выводятся герои античной истории и мифологии?... И вот, Тито Басси, мне показалось, что природа создала тебя исключительно для того, чтобы воплотить их и снова вдохнуть в них жизнь. Через тебя и из тебя именно [они] возродятся снова. О, я отлично понимаю, это задача очень нелегкая, но почему бы тебе не понять ее красоты? Да, ты должен будешь принять их обличье, пережить все их страсти. Их исступление, отчаяние, их любовь должны будут стать твоей любовью, твоим отчаянием, твоим исступлением. Твое существование сольется с ними в одно неразрывное целое. О, Тито Басси, вот какова твоя великолепная участь, но окажешься ли ты на высоте того трагического назначения, к которому я считаю тебя призванным, которое заставит твое имя перелетать из уст в уста, вместо того, чтобы впредь обозначать своими никому неизвестными слогами имя школьного учителя, каким бы ты, конечно, и сделался, оставшись в руках честного аббата Клеркати, если бы только боги не поставили меня на твоем пути?

Я был так ошеломлен этой речью, что был не в силах ответить ни слова, но собственно незачем было собирать свои мысли, потому что Альвениго продолжал еще более оглушительным голосом, сопровождая свои слова сильными ударами кулака по столу:

— Тито Басси, сегодня ты вступишь в жизнь совершенно особенную, полагаю, ты окажешься достойным ее. Отныне ты должен забыть, что до сих пор ты был всего только бедный малый, родившийся в самом низком звании, сын сапожника и белошвейки, воспитываемый на средства Вилларчьеро, поручивших тебя заботам сострадательного аббата. Отныне ты совсем не должен об этом думать. Отныне ты не должен заниматься презренными мелочами жизни. Начиная с сегодняшнего дня, ты должен перестать быть самим собой; ты теперь все равно что умер, но ты

оживешь снова в тысячах других жизней, более высоких, пылких и страстных. Более с тобой ничего не случится, но сам ты станешь героем самых диковинных приключений. Тито Басси, слушай хорошенько. Тито, поочередно ты будешь делаться то деспотом, то царем, то завоевателем. Ты будешь управлять провинциями, ты будешь царствовать над царствами. Ты будешь карать и миловать, раскрывать заговоры и рубить головы. Ты будешь также и умирать, но после каждой такой смерти будешь воскресать как Феникс, и этим именем хочу я приветствовать тебя, Тито Басси, ибо природа создала тебя на удивление Италии. Ну, теперь говори, я хочу снова услышать твой голос.

Я стал читать вслух первые фразы своей речи в Вилларчьеро. В звонком куполе просторного зала торжественно звучали латинские периоды. Мало по малу, охваченный возбуждением, я стал возвышать тон. Я пришел в экстаз и жестикулировал. При виде этого толстый Альвениго не мог сдержать своего восхищения: он спрыгнул с кресла, подбежал ко мне, сжал меня в объятиях и прокричал слова, смысл которых остался для меня неясным:

— О Тито, ты будешь моим цезарем; Тито, моим цезарем....

Он повернулся к одному из бюстов, стоявших на пьедестале, изображавшему знаменитого Римлянина.

На следующее утро я проснулся довольно поздно, так как долго не мог заснуть в отведенной для меня комнате, и каково же было мое удивление, когда я не нашел на своем месте снятой перед сном одежды. Взамен привычных моих облачений синьор Альвениго предоставил в мое распоряжение целый театральный гардероб. То были римские тоги, греческие одеяния, полный набор панцирей, мечей и шлемов. Начинаясь новая жизнь, и в костюме трагического героя, с обнаженными стопами и в сандалиях, в складках пурпура я спустился в большой зал виллы Ротонда, где поджидал меня Альвениго.

* * *

Облаченный в только что описанные мною одежды, я стал осваиваться с новой жизнью, магические двери которой распахнул передо мной синьор Альвениго и которую я принял с восторгом. На этот раз мне показалось, что я нашел свою настоящую дорогу, и пошел по ней в полной уверенности и в убеждении, что меня ждут впереди утешения славы. И в самом деле, коль скоро судьба отказывала мне в героических случаях, столь страстно мной призываемых, не естественно ли было искать им возмещения в искусстве тем более, что у меня, по отзыву Альвениго, был исключительный талант, и я мог таким образом утолить свою жажду известности и славы. Сила сценической иллюзии делает так, что я, хотя бы только по внешности, переживу наконец все, о чем мечтал. Самые возвышенные ситуации легенд и истории станут теперь моим достоянием, и я мог быть вполне спокоен, что справлюсь с ними как следует, ибо роль моя была известна заранее. Мне оставалось только примениться к переживаниям, которых она потребует и сумеет передать их с помощью данных, отпущенных мне природой, при чем правильное использование их возьмет на себя синьор Альвениго, открывший их у меня.

Чувство энтузиазма и благодарности, охватившее меня тогда, изменило то отношение, которое установилось было у меня с самого начала к синьору Альвениго. Он уже не был для меня богатым толстяком, неопрятным и грязным, которому следовало угождать для того, чтобы можно было существовать. Теперь я смотрел на него, как на какого-то волшебника, владеющего ключами удивительного, чудесного царства, в которое один он был в силах меня ввести, как на стража, приставленного охранять великие тени, ждавшие от меня своего воплощения. Поэтому я почувствовал к нему самое глубокое почтение. Почтение это, думал я, будет становиться все сильнее, по мере того как Альвениго будет обучать меня искусству, безупречным знатоком которого он себя выставил, а он действительно уже на следующий день

по прибытии моем на виллу Ротонда стал заниматься тем, что сам торжественно называл моим трагическим воспитанием.

Благодаря латинским урокам милейшего аббата Клеркати, я был почти свой человек во всем, что касалось античности, а потому персонажи, с которыми стал знакомить меня синьор Альвениго не были для меня чужими, но они предстали теперь мне совсем в новом виде. Еще недавно мне казалось, что я воспринимаю их сквозь отдаленную перспективу веков, теперь они окружали меня своей великолепной, дружественной толпой. Впечатление было столь сильно, что иногда мне чудилось, будто я слышу их голоса. Мало-помалу я стал угадывать их мысль. Синьор Альвениго служил переводчиком для обеих сторон. Будучи страстным любителем театра, он имел обширное собрание всевозможных пьес, и первое время моего пребывания на вилле Ротонда было посвящено чтению и разучиванию наиболее главных из них. Упражнения эти заняли несколько месяцев, и за это время голова моя наполнилась великолепными деяниями, а уши — звучными словами. Каждый день мы проводили долгие часы за чтением, воспламенявшим мой ум, и синьор Альвениго добавлял к нему необходимые пояснения, которые я выслушивал с необыкновенным вниманием. Мой учитель вкладывал в дело заразительное увлечение, так что и он как-то невольно преображался. И я забывал о его табакерке, о его грязных руках и приходил от его слов в самое настоящее опьянение. Вокруг меня возникала какая-то величественная атмосфера, удивительным образом согласованная с благородной декорацией виллы Ротонда. Когда мои познания в области трагического репертуара оказались недостаточными, синьор Альвениго перешел к другим задачам. Теперь нужно было дать мне возможность истолковать какой-нибудь персонаж и изобразить его правдоподобно и верно. К этому делу Альвениго приступал постепенно. Сначала он заставлял меня читать отрывки ролей, затем играть отдельные пассажи, все время помогая мне следить за жестами и управлять голосом, справедливо и строго упрекая меня в тех случаях, когда движения оказывались недоста-

точно благородными, а интонации недостаточно гармоничными. Я покорно подчинялся его замечаниям и советам. Иногда синьор Альвениго оставался, повидимому, доволен мною. Но самое интересное наступало тогда, когда он сам подавал реплику. Он увлекался и доходил до воплей, от которых содрогалась вся вилла.

Для облегчения моей работы он приказал изготовить дюжину больших манекенов, заменявших действующих лиц пьесы, главную роль которой исполнял я сам. Их одевали в соответствующие костюмы и синьор Альвениго очень любил говорить за них. Он выплнял это с необыкновенным увлечением. Была ли то стража, наперсники, князья или пленные королевы — он разрывался на части и никому не отказывал притти на помощь своим могучим голосом. Он носился, как бесноватый, с табакеркой в руках, с шапочкой, сползавшей на бекрень. А я, я до такой степени уходил в слова, которые мне нужно было произносить, и так был занят чувствами, которые нужно было выразить, что совсем не замечал курьезности разыгрываемого нами представления, остававшегося, по счастью, без свидетелей. Впрочем, если бы они даже и были, я бы нисколько не смутился, ибо увлечение мое не знало границ. Поистине мною владел некий демон, и в такие минуты синьор Альвениго смотрел на меня с чувством удовлетворения, наполнявшим меня гордостью.

И действительно, я от всего сердца и с жаром отдался своим новым занятиям и помимо их ничто больше меня не интересовало. Все химеры праздного мечтателя, каким я был, находили здесь себе применение, и я жил в мире иллюзии, поддерживавшем меня в непрерывном упоении. Когда мне приходит на мысль то время, я вспоминаю о нем не иначе, как о поре самого настоящего счастья. Оно было обусловлено каким-то ненормальным состоянием духа, от которого сердце мое охватывала наивная гордость. Разве не было у меня теперь самых необыкновенных приключений, отсутствие которых вызывало раньше столько душевной горечи? Мне оставалось только выбирать из них самые трагические и самые возвышенные. Все они были у меня

под рукой. Благодаря им, я делался равным самым знаменитым героям. Я испытывал их страсти, входил во все их раздоры, делил с ними триумфы, переживал катастрофы. Самые страшные потрясения вызывали во мне чувство какого-то сладострастия и непонятого блаженства. Трудно было бы определить наслаждение, с каким я делал вид, что выпиваю яд или на смерть поражаю свою грудь кинжалом. Эти великолепные поступки приводили меня в энтузиазм. И все вместе составляло самую завидную участь, какой только удостоивался смертный, я чувствовал, что силою ни с чем несравнимого очарования перерастаю самого себя.

Какими далекими, серыми и мизерными представлялись мне жалкие дни моего прошлого! Я не без отвращения вспоминал о рваном мальчишке, у которого рубаха вылезала через дырки в штанах, который бегал по улицам Виченцы и вечером возвращался искать пристанища в убогой квартирке сапожника на Поццо Россо. Неужели это я проводил долгие часы, сидя на тумбе и рассматривая фасад дворца Вилларчьеро, отдавая во власть химерических мечтаний? Одно движение магической палочки вдруг преобразило всю мою жизнь и извлекло меня из грязной лужи! Ощущение этой перемены было столь сильно, что оно доводило меня до неблагодарности. У меня не оставалось уже никакой признательности к бедному аббату Клеркати. Самое большое, если я признавал некоторую заслугу в том, что он обучил меня латыни. Но что значили самые лучшие цicerоновские периоды, строение которых истолковывал аббат, рядом с теми величественными тирадами, что ныне заставлял меня произносить синьор Альвениго, требуя при этом энергичной жестикуляции? Только это меня интересовало, а поэтому ни одного разу не пришло мне в голову спуститься в Виченцу и навестить бедного аббата Клеркати. Что до Вилларчьеро, то о них я и вовсе позабыл. Я никогда не покидал виллы Ротонды и ее садов. Да если бы, впрочем, и захотел покинуть, то предо мной встало бы одно препятствие: мне пришлось бы расстаться для этого с римскими и греческими одеяниями, в которые я так гордо драпировался, иначе один вид их переполошил бы всех улич-

ных шалунов и каждый шаг мой заставлял бы подбегать к дверям мастеровых и горожан.

Между тем мне была ненавистна самая мысль о том, что надо мной могут смеяться: такое уважение чувствовал я к своей собственной персоне. Оно родилось во мне от общения с прославленными личностями, которых я постоянно изображал, и от великих исторических или вымышленных событий, в которых я беспрестанно участвовал. Оно было вызвано также моими костюмами и местами, где я все время жил. Все это развивалось во мне и определяло состав той гордости, которою я был буквально одержим. Героические порывы, являвшиеся тайным инстинктом моей души, так долго сдерживавшиеся враждебными обстоятельствами, распустились теперь во мне с необыкновенной легкостью. Кроме того, я возгордился еще и от уверенности, что я гений. Похвалы синьора Альвениго были причиной моего тщеславия: они-то его и вызвали. Он прожужжал мне уши, беспрестанно повторяя, что со временем я буду величайшим актером Италии и сумею затмить, если только захочу, всех своих соперников. Сын сапожника г. Виченцы, обутый в трагические котурны, пойдет по пути славы.

* * *

Итак, время мое уходило на описанные выше упражнения и пока я предавался им с исступлением, синьор Альвениго обдумывал планы, которые он наметил для моего дарования. Он несомненно решил, что экзамен, к которому он меня готовил, будет теперь своевременным, ибо в один прекрасный день пригласил на виллу Ротонда несравненного синьоре Капаньоле.

Этот синьоре Капаньоле, уже упомянутый мною случайно выше, был, как я это своевременно отметил, директором одной из самых знаменитых в Италии театральных трупп. Успехам его в комическом и трагическом жанре давно потеряли счет. Капаньоле блестяще подготовлял актеров в том и другом роде и его милость Альвизе Альве-

ниго знал его с давних пор. Он вполне полагался на его отзыв и желал узнать, что тот скажет о моем таланте.

Как раз в то самое время, когда я был занят разучиванием роли, синьоре Капаньоле пожаловал на виллу Ротонда. Я не видел его со времени празднества во дворце Вилларчьеро, когда я дожидался его выхода, взобравшись на свою тумбу. Он несколько не изменился, но показался мне еще более черным и саркастическим. Как только он появился, его милость, синьор Альвениго, отвел его в сторону и пошел с ним в сад, где я видел, как они стали беседовать, при чем Альвениго был очень воодушевлен, а Капаньоле слушал внимательно, но недоверчиво, так как мне видно было, что время от времени он покачивал головой на слова его милости. Альвениго кричал и сильно жестикулировал, Капаньоле помахивал платком и отирал свой лоб: в тот день, как я теперь вспоминаю, было очень жарко. Наконец, закончив свой разговор, они направились к тому месту, где был я; я встал, когда они подошли ближе. Синьор Альвениго имел очень оживленный вид.

— Да, вот он, Капаньоле, вот наш нынешний Феникс, обновитель трагедии. Впрочем, ты сам убедишься. Ну, Тито, покажи ему, что ты умеешь делать, а ты, маловерный, приготовься вкушать райское блаженство.

Пока приносили манекены, Капаньоле принялся меня разглядывать. Он тщательно определял пропорции моего тела и моих членов, но, повидимому, лицо мое особенно остановило на себе его внимание. Настойчивость, с которой он изучал его, могла бы, пожалуй, смутить меня, не будь я так уверен, что природа наделила меня всеми физическими качествами, необходимыми для актера. Я был убежден в этом так же, как в достоинствах своего голоса и совершенстве своей игры. Поэтому я начал декламировать, ни на секунду не сомневаясь в том эффекте, который я произведу. К тому же, по мере того, как я вдохновлялся, Альвениго не переставал делать одобрительные знаки. То он задумчиво закрывал глаза, то открывал их, загоревшись экстазом. То, взволнованный, вздыхал, то слегка вскрикивал от восхище-

ния. Такая удача ободрила меня, тем более, что и Капаньоле, как я заметил, смотрел на меня со все более и более нараставшим любопытством и интересом. Очевидно, предубеждение, какое у него было по отношению к таланту, открытому другим человеком, а не им самим, не могло устоять перед внушенным ему восхищением. Этим, конечно, и объяснялся его несколько изумленный вид и высоко поднятые брови, что я истолковал как естественную дань моему блестящему дарованию. Уверенность эта побудила меня отдаться еще сильнее своему вдохновению и даже в такой мере и степени, что, потеряв дыхание и выбившись из сил, я, несомненно, повалился бы на плиты зала, если бы синьор Альвениго не принял меня в свои объятия. Когда он дал мне выпить несколько капель успокоительного и когда я снова стал более или менее владеть собою, он с торжествующим лицом повернулся к синьору Капаньоле:

— Ну как, теперь ты наконец убедился?

Синьоре Капаньоле поднял брови еще выше, чем это он делал раньше, закусил губу и, низко поклонившись, как бы желая скрыть своим движением досаду, проговорил:

— Ваша милость — правы. Тито Басси будет знаменитостью, и я всегда готов к услугам вашей милости.

На следующий день после этой сцены синьор Альвизо Альвениго открыл мне свой заветный план. Капаньоле, с утра снова явившийся на виллу Ротонда, заперся с ним в комнате на добрую половину дня. Когда синьоре Капаньоле удалился, его милость велел меня позвать.

Он сидел в кресле и сделал знак, чтобы я поместился на табурете:

— Наступил момент, мой Тито, сообщить тебе важное известие, которое у меня для тебя есть. Я не могу долее лишать Италию одного из самых блестящих актеров, каких она вообще когда-либо знала. Мой долг перед страной — явить тебя наконец всему миру, и твой родной город будет первым, кто наградит тебя рукоплесканиями и прославит тебя. Я отдаю тебя Виченце, Тито. Ты выступишь впервые на ее Олимпийском театре. Теперь выслушай, что порешил Альвизе Альвениго.

По мере того, как синьор Альвениго продолжал говорить, я переживал совершенно особенное впечатление. Мне казалось, что мечты получают свое воплощение. Перед моими глазами встал Олимпийский театр, куда некогда я пробрался тайком с своим товарищем Джироламо Пескаро. Я видел его декорацию, изображающую античный город, расходящиеся в стороны улицы, окаймленные дворцами и статуями. И вдруг на моих глазах декорация эта осветилась и на театре показался я сам в римской тоге, с лавровым венком на голове. На ступеньках амфитеатра сидит вся знать г. Виченцы. Я начинаю говорить; гремят аплодисменты... Я поднялся с табурета, ноги мои подкосились, и я очутился на коленях синьора Альвизе Альвениго.

Он ласково потрепал меня за ухо.

— Незачем благодарить меня, Тито, лучше послушай, что я тебе еще скажу. Именно от тебя я жду величайшего счастья всей жизни, и если ты мне его подаришь, ты в один день заплатишь за все, что я мог для тебя сделать. О Тито, теперь ты, в свою очередь, станешь властелином моей судьбы: ее я и отдаю тебе в руки вместе с этим бумажным свитком. В нем, Тито, находится написанная мною трагедия, — по моему мнению, замечательная. Я вложил в нее надежду, дорогую для каждого смертного, — не пройти для людей бесследно. Благодаря ей свет забудет, что Альвизо Альвениго был толстый и отталкивающего вида человек, но он вспомнит, пожалуй, кое-что из написанных мною стихов. Итак, тебе доверяю я свое творение, Тито Басси! Когда с твоей помощью Виченца наградит его рукоплесканиями, вся Италия захочет его услышать. И ты будешь ездить с ним из города в город, как настоящий триумфатор. Встань же, Тито Басси; встань Цезарь, — это и есть заглавие моей трагедии, — ты будешь именно Цезарем, мой милый Тито, Цезарем...

Он вложил мне в руки толстый бумажный свиток, который я схватил с такой гордостью, как будто он был маршальским жезлом, которому слава должна была подчиниться совершенно так же, как подчинилась она великому Римлянину, чья надменная и горделивая душа уже трепетала в моей груди.

* * *

Известие о том, что в Олимпийском театре собираются поставить трагедию, автором которой является его милость Альвизе Альвениго, что исполнителем главной роли будет молодой вичентинец, чей трагический талант открыл и воспитал синьор Альвениго — быстро разнеслась по всей Виченце. Известие это вызвало живейший интерес среди любителей театра, каковых в Виченце насчитывалось не мало, ибо драматическое искусство является страстью всей Италии. Поэтому готовившийся спектакль сделался темой городских разговоров. Капаньоле, которому Альвениго поручил разработать все детали постановки, в связи с этим часто навещал виллу Ротонда и приносил с собою эти слухи. Должно быть, такие слухи, действительно, были, потому что несколько любопытных явились к нам на виллу в надежде получить какие-нибудь сведения о произведении его милости и о самом исполнителе. Но непрощенные гости остались не при чем. Синьор Альвениго выпроводил их самым безжалостным образом и дал им понять, что он вовсе не намерен терять время на бесконечные объяснения и что они должны — в ожидании того дня, когда можно будет судить о спектакле на основании представления — довольствоваться теми догадками, какие им угодно будет вообще делать. Это заявление, немного резкое, доставило мало удовольствия посетителям, среди которых находился и граф Вилларчьеро, полагавший, что, в качестве прежнего покровителя, он, более чем кто бы то ни было, имеет право быть посвященным в события, связанные с моей персоной. Но граф обманулся в своих ожиданиях и должен был вернуться домой, узнав не больше, чем другие. Впрочем, после этой попытки двери Ротонды были закрыты для проходящих и исключение делалось, повторяю, для одного лишь синьоре Капаньоле, обязавшегося набрать актеров для участия в моем спектакле, с которыми надлежало мне встретиться только в день представления, ибо его милость настаивал на соблюдении строжайшей тайны относительно

великолепия моей игры, дабы не предвосхищать того потрясающего эффекта, который я, конечно, не премину, произвести. До тех пор я должен был упражняться, как и прежде, с моими обычными манекенами, под руководством его милости. Не стану рассказывать, с каким пылом, с каким огнем отдавался я разучиванию доверенной мне роли. Я расходовал весь свой голос, старался изо всех сил, пустил в ход все свои данные. Малейшая интонация, малейший жест были предметом самого тщательного изучения. Я поставил своею целью свободно распоряжаться всеми движениями своего тела, всеми ресурсами своей мимики, для того, чтобы достигнуть в игре наивысшего благородства и трагизма. Синьор Альвениго неотступно следил за моими успехами и сообразовал об'явить, что остался ими доволен. Что до меня, то и я был чрезвычайно доволен порученной мне ролью. Я не мог бы назвать другой, более благородной, красноречивой и более подходящей для того, чтобы блеснуть заложенными в меня талантами. Иной раз в минуты, когда его милости казалось, что я недостаточно проникался величием моего героя, он говорил:

— Понимаешь ли, Тито, ты должен изобразить повелителя вселенной и твоими собственными устами произнести самые прекрасные сентенции, которые когда-либо писались для трагедии!

При этих словах я удваивал свои усилия. Мой голос напрягался и наполнял своими раскатами большой зал Ротонды; мне казалось, что звучащий круг его купола является венцом, осеняющим мой гений.

Именно в эту пору я достиг предельного пункта того, что можно было назвать моим героическим ослеплением. О, если б богу было угодно, чтобы рассказ мой кончился здесь и мне ничего не оставалось бы больше прибавить! Если бы какое-нибудь несчастье оборвало бы в это время течение моей жизни, мне следовало бы только благодарить небо, но коварный рок судил иначе. Ах, зачем только лошади кареты, доставившей меня несколько дней спустя из Ротонды в Олимпийский театр, не понесли во время пути

и не разбили мою голову о дорожные камни! Я окончил бы свои дни в упоительном самообмане, которым тогда жил. Но к чему вздыхать и жаловаться! Судьбы наши предначертаны заранее: — судьба Цезаря в такой же мере, как и жребий Тито Басси, и чему быть, того не миновать.

* * *

Представление трагедии синьора Альвизе Альвениго в Олимпийском театре г. Виченцы было назначено на четвертый день сентября месяца, и вот, усевшись напротив его милости, я занял место в карете, стекла которой были завешены, дабы скрыть от глаз публики мое сценическое одеяние. Пока его милость давал мне свои последние указания, я откидывал время от времени занавеску и смотрел, по каким местам мы проезжаем. Скоро я увидел каменных карликов, украшавших стену виллы Вилларчьеро. Горбатые кривляющиеся фигурки смотрели мне вслед, но я не обратил особенного внимания на эти скульптурные гримасы и не увидел в них дурного предзнаменования. Тем временем мы стали приближаться к Виченце, высокая кампанилла которой гордо уходила вверх в последних лучах угасающего дня; наконец, мы остановились у под'езда театра. Он был заполнен толпой народа, потому что все обитатели Виченцы толкались там, желая посмотреть, как будут входить приглашенные. Их было очень много, ибо его милость созвал на этот театральный праздник всю городскую и местную знать. Были посетители, приехавшие из Вероны, Падуи и даже из Венеции, и перед этим благородным собранием я должен был впервые выступить на трагических подмостках. Дебют мой вызвал, как и следовало, впрочем, ожидать, самый живой интерес. Новизна трагедии, личность автора, слухи о том, как он открыл нового Росция под оболочкой цicerоновской латыни почтенного аббата Клеркати, все это было чрезвычайно привлекательно. Все ожидали чего-то необыкновенного. Я догадался об этом по той трудности, с которой наша карета прокладывала себе дорогу.

Нас провожал гул голосов и криков. Люди вскакивали к нам на подножку и старались нас рассмотреть в щелочку занавески, так что потребовалось вмешательство сборов господина подеста, расчистивших нам дорогу и давших возможность экипажу добраться до входа в театр.

По счастью, были приняты строгие меры, и никто из посторонних не был пропущен за кулисы, поэтому там и не оказалось никого, кроме синьоре Капаньоле и актеров, принимавших участие в спектакле. Они были уже одеты, и костюмы их были великолепны, ибо синьор Альвениго потребовал от синьоре Капаньоле позаботиться обо всем, что могло придать представлению особую пышность. Затраты, сделанные его милостью, были очень значительны и не согласовались с его обычной скупостью. Известная часть этой роскоши выпала и на мою долю: одежды мои были на редкость красивы. И это придавало мне необыкновенную уверенность. Странная гордость овладела мною; я, вероятно, был бы не мало изумлен, если бы кто-нибудь мне напомнил, что одеяние это носил не всемогущий Цезарь, а бедный малый из г. Виченцы, по имени Тито Басси. Но никто и не подумал дернуть за полу моего плаща, и мне не мешали бросать вокруг себя величественные взгляды. Спокойно и гордо глаза мои осматривали актеров, выступавших вместе со мной и получавших в то время последние указания от синьора Альвениго, как вдруг они остановились на синьоре Капаньоле, который пристально на меня уставился. Он глядел на меня с таким саркастическим видом, что на одну минуту я оторопел. Такое отношение показалось мне довольно странным, и я готов был спросить у него, не заметил ли он каких-либо недостатков в деталях моего костюма, но в этот момент его милость подозвал его к себе, и я не мог его остановить.

Еще охваченный этим неприятным ощущением, я прошел до того места в кулисах, откуда можно было, оставаясь незамеченным, видеть почти весь зрительный зал. Он был уже полон, и амфитеатр сверху до низу был усеян зрителями. От сотен свечей, горевших в канделябрах и люстрах, лился такой обильный и яркий свет, что ослепительное

сияние позволяло отчетливо видеть, как роскошно была разодета пышная толпа, составлявшая это собрание. Дамы состязались в богатстве и изысканности своих нарядов и представляли великолепное зрелище. Мужчины не отставали от них в роскоши и изобретательности своего туалета. Картина эта, должен сознаться, пробудила во мне гордость. И действительно, пройдет несколько минут, и все эти блестящие господа и эти прекрасные дамы переживут, благодаря мне, патетические ощущения, которые их воодушевят! И это я, я буду в известном смысле виновником их тревоги. По моей вине сердца их затрепещут от энтузиазма, а глаза наполнятся слезами. Один я вызову эти непривычные для них переживания. Погрузившись в свои мысли, я не спускал глаз с мест, занятых публикой, откуда вскоре должны были раздаться рукоплескания. Несомненно, граф и графиня Вилларчьеро первые начнут хлопать. Я видел, они сидели в первом ряду, граф в большом напудренном парике, а графиня в торжественном наряде с любимой собачкой на коленях: расстаться с ней она была не в силах. Это животное заставило меня подумать о моем отце и матери. О, какое это было бы для них счастье, видеть своего сына в римской тоге и присутствовать на его триумфе!

Вдруг чья-то рука опустилась на мое плечо. Это был его милость синьор Альвениго. Я чувствовал, как он дрожал и голосом более тихим, чем дыхание, он шепнул мне на ухо:

— Ну, Тито, уже начинают... Помни, что от тебя зависит и Цезарь, и моя судьба.

Он хотел было засмеяться от этой шутки, но он был так взволнован, что по лбу его струились капли пота и оставляли крупные пятна на его оборванном жабо. Я посмотрел на него с чувством жалости. Что до меня, я не испытывал тогда никакой тревоги. Душа самого Цезаря жила во мне. Я перестал быть самим собой и превратился в героя, которого мне надлежало изобразить во всем его величии и благородстве.

Две первые сцены трагедии его милости Альвизе Альвениго прошли без моего участия. С того места, где я

находился, я с полным самообладанием следил за игрой актеров и прислушивался к их читке, которая не показалась мне особенно замечательной. Тем ярче скажется совершенство моей игры. Естественно, что темой их разговора был Цезарь, и я дожидался минуты, когда мне следовало вступить в действие. Мне показалось, что среди зрителей были заметны признаки нетерпения во время диалога двух актеров. Из этого я заключил, что они ждут моего выхода. Вдруг трубные звуки возвестили мое появление. Четыре ликтора, которые должны были мне предшествовать подняти консульские эмблемы. Твердым шагом я двинулся следом за ними. Медленно, с высоко закинутой головой, я выступил из-за кулис. Позади меня античный город, составлявший декорацию театра, открывал тройную перспективу дворцов. Впереди просторный амфитеатр зала убегал вверх своими ступеньками. Выход мой заставил умолкнуть слышавшийся до сих пор шопот. Воцарилось глубокое молчание, и я услышал, как из тишины вдруг раздался звуки моего голоса.

Он удивил меня своею слабостью: его уже не мог поддерживать резонанс виллы Ротонда. Чтобы устранить это неблагоприятное обстоятельство, я пустил в ход всю свойственную ему звучность. Мне нужно было, по ходу пьесы, отчитывать двух сенаторов, говоривших до меня, и мой тон должен был изображать гнев. Я приложил все свои усилия, тщательно следя за тем, чтобы позы мои и выражение лица совпадали со словами, которые нужно было произносить, но горло у меня сжалось, а сердце билось с страшной силой. Увлекаясь декламацией, я сделал шаг вперед, потом еще шаг и очутился почти у самого края сцены. Тогда благородным и могучим движением я протянул руку к публике и произнес пламенным голосом последние стихи тирады, которую мне следовало прочесть.

На стихи эти и на этот жест, за которые я ждал заслуженных рукоплесканий, ответил какой-то странный звук. Испугавшись, должно быть, движения и раскатов моего голоса, проклятый мопс графини Вилларчьеро бешено забился на руках своей хозяйки и разразился пронзитель-

ным и заунывным лаем. После такой необыкновенной реплики глухой шопот пробежал среди зрительного зала и стал передаваться из ряда в ряд. Пораженный самым неприятным образом, я остался стоять в той же позе, что и раньше, и вместо того, чтобы удалиться в глубину сцены, как бы следовало сделать, я не двинулся с места и обнаружил явную растерянность. Этого незначительного инцидента и признаков смущения, мною выказанных, оказалось достаточно для того, чтобы вызвать в зале веселое настроение, тем более, что проклятый мопс стал заливаться и лаять изо всех сил. Кое-кто из зрителей привстал, чтобы лучше видеть все случившееся. Это вызвало некоторый беспорядок, еще более усиливший смех публики и лай отвратительного животного.

Будь на моем месте опытный актер, он стал бы продолжать свою роль и тем самым заставил бы замолчать зубоскалов. Но, несмотря на полную уверенность в собственном гении, я был еще новичком-дебютантом, и капли пота начали стекать из под грима мне на щеки. Кроме того, я вскипел от оскорбления, столь неприличным образом нанесенного Цезарю, но в то же самое время мучительная тоска овладела всем моим существом. Я чувствовал на своем лице самую жалкую гримасу. И в эту минуту раздался голос его милости, кричавшего мне из-за кулис:

— Да продолжай же, продолжай, несчастный Тито...

При этом энергичном окрике я пошевелил было губами, но с них не сорвалось не единого звука, и я остался неподвижно стоять с открытым ртом, один посредине сцены, которую сенаторы уже покинули, и почел бы за счастье, если бы ликторы отрубили мне своими топорами голову и тем положили конец моим позорным мучениям.

Жестокая, неукротимая буря хохота и свиста была ответом на мое замешательство. Со всех концов зала летел и хлестал меня этот свист и хохот и самое ужасное было ясное сознание того, что причина всего — мое жалкое измученное лицо. Чем сильнее меня охватывало чувство тоски, тем смешнее, должно быть, было испуганное выражение моего лица. Чувство это окончательно меня истерзало и не позво-

лило мне снова овладеть собой. Я мечтал о том, чтобы вызвать перед толпой облик самого Цезаря, а вместо этого показал ей смешную и жалкую маску своего позора. И вот внезапно героическая иллюзия, которой я жил, рассеялась самым жалким образом и рухнула под градом насмешек. Весь зал целиком поддался какому-то неукротимому веселью, бушевал и топал ногами от радости, покори́лся власти одного из тех заразительных состояний, с которыми ничего нельзя поделать. Если бы я действительно умер на сцене от потрясения и горя, эти люди осмеяли бы даже мой труп. Если бы я пронзил свое сердце мечом, без всякой нужды болтавшимся у меня на боку, мой жест увеличил бы еще больше это припадочное ликование. Я был увлечен вихрем, с которым не мог уже справиться! И для того, чтобы разразился этот ураган, достаточно было залаять не во время маленькой собаченке, а теперь весь зал начал подражать этому лаю под гам скрежетающихся в воздухе шуток и криков, наполнявших пространство невообразимым шумом.

Да, достаточно было ничтожного забавного случая, и эти важные разряженные люди, собравшиеся сюда прослушать трагическую пьесу и посмотреть, как оживут перед ними великие исторические мгновения, вдруг впали в самое подлинное исступление! Они опьянели от собственного неистовства. В несколько минут суматоха достигла своего апогея, тем более, что злые шутники вздумали погасить свечи, находившиеся поблизости, и создали полумрак, благоприятный для всякого рода проказ. Полутемный зал, наполненный кричащими и жестикулирующими людьми, принял почти фантастический вид. Тогда, бессильный перед лицом такой бури, я ощутил невыразимый ужас и вот — дрожа всеми членами, стуча зубами, я, как безумный, бросился за кулисы; одна нога у меня зацепилась, я растянулся на полу, а каска моя покати́лась вперед и забавно загрохотала своею жестью.

Вдруг сильный удар кулака заставил меня встать, и я очутился лицом к лицу с его милостью. При виде его, первым моим движением было поднести руки к глазам, ибо на синьора Альвениго было страшно взглянуть. Весь гнев освищенного автора изобразился на его лице. Глаза вылезли на

лоб, костюм был в беспорядке, он буквально рвал и метал. Схватив меня за горло, он в бешенстве стал меня трясти. Вначале один только поток ругательств излился на меня из его вопящих уст, потом я разобрал мало по малу следующие слова:

— А, вот где ты, презренный болван, идиотский Цезарь, сапожников сын! Нет, вы только посмотрите на это дурацкое лицо! И подумать, что в течение долгих месяцев я видел перед собой эту подставку для оплеух и не мог догадаться о его глупости! Какое безумие меня охватило? А я-то, я вздумал питать этого негодного шута прекрасной и священной пищей трагического искусства! Немудрено, что у него сделалась икота и его стало рвать! И как только я мог допустить, хотя бы на минуту, что какой-то Тито Басси может сделаться Цезарем? Подумать только, что этому бесвязно лепечешему истукану я доверил свое создание! О, палач моих дивных стихов, о грабитель моей славы, о убийца моего гения! Ну, а сам ты, ты не мог разве предупредить, что я ошибся, что ты просто-напросто олух, умеющий только лопотать по латыни? Ну, а теперь слушай, как смеются над твоей дерзостью, эти болваны, довольные тем, что могут меня позорить. Отправляйся обратно к ним, ты ведь с ними заодно. И чего ты стоишь здесь и смотришь на меня в своем смехотворном наряде? Уходи прочь, предатель, можешь подохнуть на дне канавы или лучше покачайся на виселице, но, прежде чем уйти, получи напутствие от Альвениго, прославленный трагик, Тито Басси!

Он яростно оттолкнул меня и прежде, чем я успел опомниться, могучий пинок ногой пониже спины бросил меня в объятия синьора Капаньоле, в то время, как его милость с страшным ругательством скрылся из виду. Я приготовился было к такой же отповеди со стороны синьоре Капаньоле, как вдруг я услышал над ухом его голос и почувствовал, как крепко сжимает он меня в объятиях:

— О, божественный Тито, позволь мне принять, как того он заслуживает, бесценный дар, посланный мне фортуной! Осуши слезы, мой мальчик! Пинок ногой, который ты только что получил, есть эмблема твоего призвания. Я угадал его с первой же нашей встречи и возблагодарил богов

за то, что они тебя предупредили хотя и довольно таки жестоким образом. Нет, ты рожден не для трагедии, Тито Басси. И я сразу это заметил по твоему лицу. Но разве мог я осмелиться противоречить его милости? Ведь слова мои показались бы ему настоящим богохульством. Ты — трагик? Да ты же, самый настоящий комик! Ах, как жаль, что ты не мог сейчас посмотреть на свое растерянное лицо и на свои нелепые жесты! Сумей только в нужное время сделать такое же лицо, и я обещаю тебе небывалый успех. С сегодняшнего дня, Тито Басси, я зачислил тебя в мою труппу. Ну, нечего гримасничать. Деревянная сабля Арлекина стоит меча Цезаря и гораздо лучше смешить людей хорошими фарсами, чем напыщенными тирадами.

Но так как я не переставал оплакивать крушение моей рассеявшейся мечты, синьоре Капаньоле вытащил из кармана платок, вытер мне глаза и отечески утер мне нос.

* * *

Бывают профессии гораздо хуже, нежели профессия актера-комика и тем не менее я почти с отчаянием согласился последовать советам синьоре Капаньоле. На такое решение меня толкнули, конечно, не обещания успеха, которыми он старался поднять мой упавший дух, а неотложная необходимость как-нибудь устроить свою жизнь. После провала на Олимпийском театре, мне не приходилось больше рассчитывать на синьора Альвизе Альвениго. Проклятия освищенного автора и к тому же, как ему думалось, освищенного, по моей вине, навеки закрыли для меня двери виллы Ротонда. Впрочем, я и сам ни за что бы не согласился туда вернуться. Воспоминания о безумных надеждах, которые там зародились, заставили бы меня жестоко страдать. Я мог бы еще, пожалуй, обратиться к Вилларчьеро и вызвать жалость к судьбе их недавнего восхвалителя, но я предпочел бы лучше умереть с голоду, чем появиться перед графом и графиней после скандала, причиной которого был я, и подвергнуть себя риску снова услышать злополучный лай проклятого мопса.

Оставался, конечно, добрый аббат Клеркати; он не отказал бы мне, разумеется, в куске хлеба, но мне было неприятно обращаться к нему за помощью, да и самая мысль жить по-прежнему в Виченце после всех издевательств, выпавших на мою долю, сделалась для меня невыносимой. Самым мудрым и самым простым выходом было бы просто умереть с голоду. Мужественный человек всегда сумел бы отыскать для себя уединенный уголок на Монте Берико и там, в тени куста, стал бы терпеливо дожидаться приближения смерти. Но крушение всех моих мечтаний отняло у меня последнюю храбрость и всякую решительность. Предо мной открывался только один выход — принять предложение синьоре Капаньоле. Оно имело то преимущество, что согласовалось с переживаемым мною стремлением как можно скорее покинуть Виченцу и не появляться в ней больше никогда.

Синьоре Капаньоле немедленно дал мне возможность осуществить это. После злополучного представления, о котором я говорю так много потому, что полученное оскорбление оставило во мне еще по сей день жгучие воспоминания, синьоре Капаньоле свел меня в гостиницу, где всю ночь я провел в слезах и вздохах. На следующее утро он распорядился выдать мне приличное платье и поделился со мною своими планами. С наступлением вечера я должен был отправиться в Падую, куда вслед за мной прибудет и сам синьоре Капаньоле. В Падуе мне ни в коем случае не следовало выходить из дома, который он мне укажет, и заводить разговор с кем бы то ни было. В сущности синьоре Капаньоле побаивался, чтобы его милость, отойдя от своего гнева, не одумался и не вернулся к прежним своим мыслям обо мне, а потому счел благоразумным спрятать в надежное место человека, на которого у него были виды.

Итак, я в точности исполнил наказ синьоре Капаньоле. К вечеру я собрал кое-какие пожитки и благополучно выбрался в поле, но прежде чем взять путь на Падую, мне захотелось в последний раз посмотреть на Монте Берико, где я провел столько часов, деля мои химерические мечты. Как раз в этот вечер была чудная луна, облегчившая мое положение, и при лунном свете я стал взбираться по склону

холма. Дойдя до того места, где я так часто сидел в то время, когда обучался латыни у милого аббата Клеркати, я остановился. Красота зрелища, открывшаяся моим глазам, меня растрогала. В последний раз я мог взглянуть на нашу Виченцу. Она благородно раскинулась в глубине долины. Воды Баккильоне и Ретроне сверкали. Возле базилики Палладио, кампанилла смело уходила в высоту чистого ночного воздуха. Там и сям сверкали огоньки. Вид этот невольно вызывал у меня слезы. Разве не здесь, в этом торжественном городе, родились вместе со мной мои чудесные мечты о приключениях и героических подвигах? Сколько раз думал я там о блеске, который падет на него от моих будущих высоких деяний, от моей несомненной славы! Увы, от всех честолюбивых надежд не осталось ровно ничего. Безжалостная судьба сначала отстранила их одну за другой, а потом вдруг сразу покончила со всеми. Скупая фортуна не послала мне того, чего я от нее ждал. Она не позволила мне сделаться настоящим героем, и уничтожила ту призрачную мечту, которой я попытался скрасить свою незавидную долю. Не осуществив того, чем я хотел бы стать, я прибег к помощи великих героев истории и мифологии, но мачеха-судьба стащила с моих плеч торжественный наряд, присвоенный мной столь неосмотрительно. Из ее безжалостных рук я вышел голым. И я вспоминал все обстоятельства своей жизни; восторженные прогулки в детские годы, пожар дворца Вилларчьеро, трудовую жизнь у аббата Клеркати, отважные мечтания на Монте Берико, свое вступление на виллу Ротонду в качестве гения, роковой вечер в Олимпийском театре, где под улюлюканье толпы рухнуло разом хрупкое здание моего благополучия, оскорбительный пинок ногой, положивший конец недолгой карьере трагического актера Тито Басси.

И в этот час будущее твое, бедняга Тито Басси, вставало перед тобой во всей своей иронии! Ты снова шел к пинкам, ты снова шел к взрывам хохота, и тебе не только надлежало сносить этот хохот, ты должен был по собственному почину вызывать его. И потому, что природа наделила твое лицо, твой голос, твои жесты прискорбной силой вызывать смех, тебе следовало извлечь пользу из ее злопо-

лучного дара, обратить его к выгоде для собственного существования. И вот тебе придется изощрять свой ум над изобретением всевозможных шутовских выходок и приспособляться к тем, которые тебе станут указывать. Все твое существо будет изощряться в этом презренном занятии. Твой рот, твои глаза, твой нос, все твои члены, все тело будут отныне служить целям одного лишь шутовства. Отныне единственным твоим старанием будет научиться этому смехотворному обращению со своей персоной, ибо это тоже искусство: — получать и наносить удары палкой, исполнять роль слуги, валять дурака и паясничать. И в награду за свои ужимки и гримасы, о Тито Басси, у тебя будет чем набить свой живот, а то пожалуй, будет и своеобразная, унижительная и потешная известность, своеобразная пошлая слава, от одной мысли о которой сердце твое содрогается с отвращением.

* * *

Под эти безрадостные мысли я спустился вниз по склонам Монте Берико и на этот раз самым решительным образом направился по направлению к Падуе. До нее было почти семь миль, и если бы ночь выдалась темная, вряд ли я смог бы сделать их за ночь; но луна так хорошо освещала дорогу, что я вполне благополучно достиг Падуи. Очтившись в гостинице, я последовал указаниям синьоре Капьяноле. Грусть моя была так сильна, что я не испытывал ни малейшего желания осмотреть этот знаменитый город, про который мне очень часто рассказывал аббат Клеркати, куда он надеялся когда-нибудь меня свезти, ибо гуманитарные науки там в такой же чести, как и естественные, и добрый аббат полагал, что мой латинский язык не останется там незамеченным. Но эти прекрасные планы разлетелись как дым, подобно тем другим, воспоминание о которых наполняло меня горечью. Это горькое чувство отражалось, конечно, и на моем лице, так что вид у меня был мрачный, и я менее всего был похож на человека, готовящего себя в увеселители театральной публики и собирающегося вскоре приступить к специальной комической тренировке.

И, однако, она не замедлила начаться, ибо едва только синьоре Капаньоле с'ехался со мной в Падуге, как сейчас же он занялся культивированием открытых во мне талантов. По его отзыву, природа уже наделила меня самым главным, но искусство говорил он, должно было помочь природе. Что до отмеченной им способности моей одним своим видом вызывать смех, то синьоре Капаньоле сознался, что она поразила его с момента первой же нашей встречи, с того самого дня, когда на вилле Ротонда, синьор Альвениго представил мне в качестве Феникса трагического искусства. Ему стоило страшных трудов сохранить серьезность, до такой степени торжественность моего голоса, нелепые жесты, моя бессмысленная физиономия и неуклюжая фигура, украшенная мишурными одеяниями, действовали на него неудержимо веселым образом. Он едва не признался в этом его милости, но по собственному опыту знал, как опасно противоречить прихотям вельмож, причудам оригиналов и в особенности фантазиям любителей театра. Поэтому он нашел более благоразумным промолчать и предпочел, чтобы естественное течение вещей, вывело синьора Альвениго из его неистового увлечения моей особой. Предчувствия его оправдались. Синьоре Капаньоле особенно не гордился этим, но и не был недоволен. Единственно, что его огорчало, ибо под саркастической внешностью синьоре Капаньоле скрывался добрейшей души человек, это уныние, в которое я впадал всякий раз, когда он заговаривал на эту тему. Чтобы несколько рассеять его, он отечески похлопывал меня по плечу, обращал ко мне слова утешения и после восторженных отзывов о комических дарованиях, которыми наперекор моим стремлениям наградила меня природа, заканчивал так:

— Да ну же, Тито, не делай такого убитого вида, хороший комик — далеко не унижительное звание, поди-ка лучше займись ролью, о которой я тебе говорил.

И действительно, как было уже отмечено, синьоре Капаньоле немедленно же приставил меня к работе и начал обучать меня приемам моего ремесла. Труппа Капаньоле хотя и давала иной раз трагедии, но главным образом она отличалась в комедиях. Репертуар ее состоял из готовых пьес

и простых сценариев, по которым актеры импровизировали как хотели, ибо тут интрига подсказывала тысячи всевозможных выдумок, при чем следовало сделать их занятными для публики. Молодцы синьоре Капаньоле пользовались во всей Италии вполне заслуженной репутацией, и синьоре Капаньоле желал, чтобы и я был ничем не хуже других. Поэтому он прилагал все усилия к тому, чтобы я мог достойно подвизаться на ряду с остальными. Я должен признать, что старания эти были поддержаны всей труппой. Громкая и исключительная неудача, вызвавшая у синьоре Капаньоле интерес к моей персоне, заинтересовала и всех актеров. Они не скупилась поэтому на советы и на поощрения. Новые товарищи, посланные мне злополучной судьбой, делали все, что могли, дабы облегчить дело, казавшееся мне унижительным испытанием, и мне оставалось только радоваться их обхождению. К тому же в труппе синьоре Капаньоле совсем не было того соперничества, которое, как рассказывают, превращает другие труппы в настоящий ад. В этой труппе царил самое полное согласие, что чувствовалось во время представлений, когда каждый выказывал себя с лучшей стороны и не старался выдвинуться в ущерб интересам другого. Актеры синьоре Капаньоле любили свое дело и прилагали все силы к тому, чтобы открыть мне его тайны.

Синьоре Капаньоле обещал, что покажет меня публике, как только буду в состоянии выступить на сцене. Он рассчитывал дать мне для дебюта маленькую роль по моим силам и совсем не думал сразу же представить меня зрителям как какое-то чудо. Вместо того, чтобы ошарашить публику, он хотел, чтобы я приобрел ее расположение постепенно и чтобы дарование мое получило признание шаг за шагом. Так именно складываются, часто говаривал он, прочные и длительные репутации, и ему лично было желательно, чтобы моя репутация установилась именно таким образом. А для того, чтобы она вовсе не зависела от любопытства, которое могло быть возбуждено воспоминаниями о скандале в Виченце, он потребовал еще, чтобы я переменил свое имя и назывался бы отныне Скарабеллино, име-

нем, имеющим в себе нечто комическое и способное расположить публику в мою пользу.

* * *

И вот, под этим новым названием мне суждено было появиться впервые на афише, и дебют мой состоялся в сентябре, в городе Бергамо, в день la Fiera ¹⁾. Ярмарка св. Александра привлекла большое стечение народа и сопровождалась разными увеселениями. Особенным успехом пользовался театр. Наш балаган, сделанный из досок и полотна, был велик и довольно удобно устроен. Там исполнялись главным образом фарсы и шутовские сцены, потому что бергамская публика была особенно падка до такого рода зрелищ, и та пьеса, в которой я должен был выступить, носила заглавие: „Волшебный пирог“. Я играл там роль прожорливого, плутоватого слуги. В конце пьесы я появлялся сбоку из пирога, куда меня запихивали, и Арлекин, Бригелло и Панталоне отсчитывали мне добрую порцию палочных ударов.

Я не стану говорить о мыслях, пробежавших у меня в голове в то время, как я был заперт под картонной коркой пирога, выжидая минуты, чтобы подставить спину под дубинки, которые размеренно по ней загуляют. Те зрители, что сейчас будут смеяться моим прыжкам, моим вывертам и гримасам, несомненно почувствовали бы ко мне жалость, если бы могли угадать мои горькие думы. О, каким жалким и презренным я себя чувствовал! Слезы текли по накрашенному лицу в то время, как я в последний раз сокрушался о своей несчастной судьбе. Большой пирог, в котором я помещался целиком, был для меня поистине могилой. Там покоился бедный Тито Басси и его мечта о приключениях и славе. Там покоился тот самый Тито Басси, что мечтал воплотить великие трагические образы с помощью звуков своего голоса и своих жестов. Увы, сейчас из картонного пирога, едва только поднимется крышка, выйдет под палочными

¹⁾ Ярмарки.

ударами мертворожденный Цезарь Олимпийского театра и отныне, помазанный на царство дубинками и тумакami, навеки обратится в шута Скарабеллино!

Аплодисменты, встретившие мое появление из пирога, разорвали на части мое сердце, а палки тем временем заходили по моему хребту. От их прикосновения я испытал чувство страшного унижения, к которому присоединилась вспышка возмущения. Волна крови хлынула к моим щекам, покрытым румянами. Кулаки яростно сжались. Я готов был броситься на своих палачей, схватить за горло и задушить в бешенных об'ятиях одного, свалить с ног другого, исковеркать своими ногтями лицо третьего. И, конечно, глупая публика перестала бы смеяться, когда услышала бы предсмертный хрип моих жертв! Но какое право имею я мстить за жалкие мучения своей гордости и срывать свою злость на несчастных товарищах! Разве сами они не находились в таком же рабстве, как и я, и не отдавали, подобно мне, себя на осмеяние толпы? Разве не лучше будет склониться перед испытанием и согнуть спину под ударами, не произнося жалоб и даже не сопротивляясь?

Я так и поступил, а Бригелло, Арлекин и Панталоне проявили необыкновенное усердие в своем деле, к великому удовольствию зрителей, которые никак не могли насытиться видом исполняемых мною прыжков и всевозможных кривляний. Увы, это был всего только дебют и еще много раз будут повторяться эти палочные экзерсисы, которым я был обязан своим первым успехом на поприще, никогда не казавшемся мне подходящим и еще теперь вызывающем во мне стыд и гнев, ибо, должен сознаться, я никогда не мог отделаться от чувства негодования, пережитого мной при только что изложенном случае. Но не смешно ли, что как раз это самое чувство обеспечило мне у публики ту скромную популярность, которой я у нее пользовался? Оно несомненно придавало моей игре особенную выразительность, и мой иступленный вид, невольно сопровождавший самые уморительные положения и самые грубые выходки, производил своим контрастом комический эффект, никогда не надоедавший зрителям. Синьоре Капаньоле поздравлял меня

с подобными достижениями, а товарищи мои стали бы, пожалуй, завидовать, если бы их не останавливали дружеские чувства ко мне. Они находили неподражаемым то, что я делал. В самом деле, сами они не испытывали ничего подобного и не только не страдали от дурацких штук, требующихся по роли, но еще гордились вызываемым ими смехом, тогда как для меня этот смех был настоящей пыткой. Мало того, что он преследовал меня на сцене, я был глубоко убежден, что он преследует меня и на улице. Я чувствовал себя жертвой, над которой беспрестанно потешаются, и у меня всегда оставалось впечатление, что всюду и для всех я являюсь комическим персонажем. Вскоре недоверие, которое меня мучило, отразилось на моем характере. Огорчение это присоединилось к заботам, которые осаждали меня раньше, и я сделался молчаливым и мрачным.

Я конечно заблуждался, ибо если оставить в стороне неотделимые от него неприятные ощущения, положение мое было далеко не плохим. Жалованье, которое мне назначил синьоре Капаньоле, вполне окупало мои расходы. Хотя я не был знаменитым актером, я сделался однако довольно скоро очень ценным артистом. В жизни, которую вела наша труппа, не было ничего такого, к чему, при другом настроении, я не мог бы легко приспособиться. Скорее я должен был получить от нее некоторое удовольствие. Вне стен театра у нас бывали очень приятные собрания. Синьор Капаньоле, любивший вино и хороший стол, часто приглашал нас на веселые и обильные ужины. Там мы болтали о всевозможных вещах, устраивали игры и занимались музыкой. Кроме того, переезды из города в город предохраняли нас от скуки, но несмотря на эти различные основания быть довольным своей жизнью, я оставался все же, даже в самые хорошие для меня дни, угрюмым и задумчивым. Синьоре Капаньоле удивлялся этому и подчас журил меня, ибо он питал ко мне дружеские чувства, несмотря на то, что в общем я не сделал той блестящей карьеры комедианта, на которую он рассчитывал. Он все же не сердился на меня за это. Он отлично понимал, что не будучи из ряда вон выходящим талантом, я очень недурно справлялся

с порученными мне ролями, был исполнителен и внимателен, никогда не отказывался от работы, а кроме того, в манере моей принимать палочные удары было нечто неподражаемое.

По мнению синьоре Капаньоле, у меня не могло быть особенных оснований грустить, почему он иногда и подшучивал по поводу моей задумчивости. Он говорил мне:

— Послушай, Тито, друг мой, да оставь ты свой мрачный вид и не делай такого насупленного лица. Что у тебя — затруднения в деньгах или какое-нибудь сердечное огорчение? Нет? Так развеселись и покорись своей судьбе. Я отлично знаю, что она у тебя не совсем такая, как бы тебе этого хотелось. Но ты ведь не один в таком положении. Или ты думаешь, я всегда чувствовал себя призванным для того, чтобы управлять труппой комедиантов. А откуда ты знаешь, я, быть может, предпочел бы церковные свечи нашим театральным свечам? Кто может сказать, что я не хотел сделаться капитаном, или купцом, или заняться еще другим каким-нибудь делом?

Да, Тито, сознайся, что в актерском звании, если хорошо поразмыслить, есть свои приятные стороны и выслушай ту разумную похвалу, которую я произнесу в его честь. И прежде всего заметь, что актер удостоивается благодарности публики. Толпа, надо сказать, любит свои удовольствия и совсем не бесчувственна к тем, кто ее забавляет. Вследствие этого профессия наша стоит выше многих других. И действительно, разве люди чувствуют признательность к своему булочнику или сапожнику? Нет. А актер пользуется привилегиями, которые возвышают его над простым ремеслом. Он владеет тайной, тайной увеселять, и за это на нас сыплются тысячи всяких побрякушек, из которых далеко не последняя — аплодисменты, которые сопровождают наши старания позабавить публику. Они являются для нас наградой и так приятно звучат для нашего слуха. А затем, мой скромный Скарабеллино, актеров и особенно тех, что исполняют роли шутов, очень любят женщины!

И милейший синьоре Капаньоле, подмигивая мне своими близко сидевшими на смуглом лице глазами, кончал разго-

вор и отечески теребил меня за ухо, которое от его слов краснело так, как не покраснело бы от любовного шопота, твердящего нам свои сладкие тайны. Увы, тебе, бедняга Скарабеллино, не приходится похваться любовью! Именно так мог бы я ответить на амурные намеки синьоре Капаньоле, но я предпочел промолчать и хранить про себя свои неудачи. До моего отъезда из Виченцы я был очень наивен во всех подобных вопросах, но когда едешь по белу свету с труппой актеров, такая наивность вряд ли может продолжаться особенно долго.

Я подчинился общему жребию и нашел в этом даже некоторое облегчение своей скуки, но ни тщеславие, ни сердце не было затронуто тривиальными приключениями, выпадавшими на мою долю. Совсем иначе обстояло дело в том случае, который имел место в Вероне и о котором я хочу сказать здесь несколько подробнее.

* * *

Однажды вечером, повеселив веронцев своими гримасами и шутками, я, по дороге в гостиницу, повстречал высокого лакея, осведомившегося, действительно ли я синьор Скарабеллино. Я ответил утвердительно, и он протянул мне запечатанную записку. Улица была довольно темная, так что слуга поднял повыше свой фонарь, и я, таким образом, смог прочесть послание. Это было самое настоящее объяснение в любви. Свидание назначалось на завтра, после спектакля, у Кастель Веккио. Я должен был позволить завязать себе глаза и потом идти за известным мне лакеем, которого я встречу и который будет поджидать меня.

На следующий день в назначенный час я аккуратно явился на свидание. Сначала меня вели за руку по целому лабиринту улиц, потом мы остановились, и я услышал, как мой провожатый вложил ключ в замок. Когда я вошел, повязку с меня сняли и попросили подняться по лестнице и пройти в зеркальную комнату, где был сервирован ужин. Я провел там некоторое время; затем в комнату вошла женщина. Она была в весьма соблазнительном дезабилье; лицо

ее закрывала маска; обнаженная грудь говорила о том, что женщина молода и красива. Она начала разговор тысячью всяких любезностей. Она говорила, что выделила меня среди всех моих товарищей, что она пожелала со мной познакомиться, что положение ее заставляет соблюдать тайну и осторожность. На эти слова я постарался ответить самым деликатным образом, но она оборвала мои слова и начала ласкать меня. Я выказал со своей стороны большую пылкость и имел основание думать, судя по удовольствию, которое я получил и которое, повидимому, получила и она, что мы расстались весьма довольные друг другом. Вся эта история могла бы привести к весьма приятному препровождению времени, если бы я не сделал глупости и не вообразил, что меня полюбил вполне серьезно.

После каждой новой встречи с незнакомкой я все более утверждался в моей догадке, так что мысль о предстоящем в скорости отъезде из Вероны меня страшно мучила. Дни и ночи напролет я придумывал способы положить конец своей кочевой жизни, а каждый вечер я снова встречал у Кастель Веккио лакея с фонарем. Я дожидался этого часа с нетерпением. С какой поспешностью, едва покинув сцену, сбрасывал я свои театральные лохмотья и бежал на свидание; я приходил — и щеки мои горели, а сердце так билось! Каково же было мое удивление, когда в один прекрасный вечер я обнаружил, что человека с фонарем не было больше на месте. Будучи убежден, что он немедленно придет, я стал прохаживаться взад и вперед, но я ждал напрасно, никто не приходил. Нетерпение, беспокойство поочередно овладевали моей душой. Я чувствовал себя как в кипящем масле и в отчаянии вымеривал шагами пустынную площадь; вдруг какая-то старуха прошла мимо, сунула мне в руку пакет и скрылась прежде, чем я нашел время ее остановить. Мне оставалось только возвратиться в гостиницу, что я и сделал, хотя и не без труда, ибо ночь выдалась очень темная, а при мне не было больше лакея с фонарем, под охраной которого я с завязанными глазами доходил до самой моей двери. Едва только я очутился в комнате, как сейчас же зажег свечу и развернул пакет. В нем находился кошелек и письмо. Коше-

лек был наполнен цехинами, а в письме стояли такие слова: „Оставьте себе кошелек и не пытайтесь снова меня видеть; теперь я знаю, что Скарабеллино забавен только на сцене и что любовь шута не имеет ничего особенно занимательного“.

Если от полученных цехинов мне сделалось стыдно, то письмо наполнило меня ужасным смятением. Итак, даже в любви меня преследует клеймо моей презренной профессии? От меня вовсе не ожидали ни чувства, ни искренней страсти. Итак, я навсегда обречен на жалкую роль существа, от которого будут, во что бы то ни стало, добиваться потехи; я осужден увеселять других, и эта перспектива будила во мне невыразимое бешенство. Пусть товарищи мои спокойно принимают выгоды своего ремесла, я не согласен с ним мириться. Принять жребий, ненавистный всему моему существу, значило бы окончательно уронить себя в собственных глазах. Лучше отказаться от любви, чем служить ей игрушкой! Лучше буду жить в одиночестве, но не пойду на то, чего все от меня ожидают. На полуобгорелой свече, мерцавшей в моей комнате, я сжег отвратительное письмо, выбросил через окно на мостовую кошелек с цехинами и горько заплакал. Самые наслаждения, пережитые мной с прекрасной незнакомкой, увеличивали горечь моих слез тем унижительным для меня любопытством, из-за которого она мне их подарила.

* * *

Это злополучное приключение привело к тому, что я стал еще мрачнее и еще меланхоличнее и стал чуждаться отныне всякого общения с женщинами. Я находился, однако, в таком возрасте, когда подобное воздержание бывает весьма тягостным, и все же я оставался непоколебимым в своем решении. В таком поведении была некоторая заслуга, ибо любовь занимала важное место в жизни труппы и являлась одной из главных тем наших разговоров. Синьоре Капаньоле, несмотря на весь свой сарказм, не отказался еще совсем от прекрасного пола и охотно поверял нам свои счастливые

случаи; товарищи мои поступали совершенно также. При мне совсем не стеснялись, и не проходило дня, чтобы я не присутствовал при какой-нибудь нежной сцене или галантном объяснении. Меня охотно избирали судьей в этих делах, и друзья мои не скрывали от меня своих печалей и наслаждений. Увы! я не мог платить той же монетой. Что до моих печалей, то они, конечно, никогда бы их не поняли, а наслаждения мне пришлось бы сочинять самому, явись у меня желание о них заговорить!

Итак, жизнь моя протекала однообразно, неинтересно и беспокойно, так как мы очень часто переезжали с места на место. В течение года мы побывали в Болоньи, Флоренции и Риме. На следующий год мы добрались до Неаполя. Я продолжал аккуратно исполнять свои профессиональные обязанности, а когда кончал их, посвящал весь свой досуг неопределенной задумчивости. Я совершал длинные прогулки или подолгу засиживался в каком-нибудь кафе. Очень часто я совсем не выходил из гостиницы и проводил долгие часы за пережевыванием прошлого.

И вот случилось так, что скитания наши привели нас в Феррару, где и произошло событие, которым я собираюсь сейчас заняться.

Однажды вечером, когда я играл роль слуги в фарсе „Волшебный пирог“, я так неловко вылез из под крышки в ту самую минуту, когда начинаются палочные удары, что свалился на-земь и при падении причинил себе сильный вывих, так что пришлось прекратить спектакль и перенести меня в гостиницу. Инцидент этот, хотя и не очень опасный, заставил меня на некоторое время держаться подальше от сцены. Между тем труппу [синьоре Капаньоле ожидали в Милане, и так как путешествие при таких обстоятельствах оказалось бы затруднительным, было решено оставить меня в Ферраре вплоть до выздоровления. Синьоре Капаньоле уехал только после того, как поручил меня заботам хозяина, обещавшего смотреть за мною и снабжать всем необходимым. Обе дочери этого почтенного человека, Джеролима и Пьерина, были приставлены к тому, чтобы ухаживать за мной.

Старшая, Джеролима, была высокая, толстощекая и услужливая девушка. Младшая, по имени Пьерина, внимательностью своей и заботами не уступала сестре, а кроме того была еще самым восхитительным созданием, какое только можно себе представить. Никогда я не встречал женщины более живой и задорной, чем эта Пьерина. Представьте себе очаровательное личико, превосходную талию, самую маленькую ножку и при этом самый приветливый и шаловливый характер. Пьерина проявила ко мне очень большой интерес. Я восхищался ее заботливым видом, когда она приближалась к моей кровати, чтобы справиться о моем здоровье или подать мне какой-нибудь лакомый кусок. Пьерина проводила долгие часы в моей комнате и расспрашивала о моей бродячей жизни. Она слушала с большим вниманием мои рассказы. Я не скрыл от нее своих печалей, своего отвращения к жизни, которую меня заставила принять жестокая судьба. Она, видимо, мне сочувствовала и старалась утешить меня бесчисленными милыми выходками. Так дело шло до того самого дня, когда мне нужно было уезжать. В этот день Пьерина заявила мне самым серьезным образом, что за время моего пребывания у них она успела передумать о многом и приняла несколько решений, которыми она намерена теперь со мной поделиться и самым главным из них было — сопровождать меня повсюду, куда я только поеду, и прежде всего в Милан, куда я сейчас собирался. Она уже приготовила свой узелок, и ничто не могло заставить ее отказаться от этого плана, ибо она меня любила и не хотела принадлежать никому другому, кроме меня.

От этого объяснения, сделавшего прекрасные глаза Пьерины еще более неотразимыми, я пришел в изумление и смутился. Что же это? Несчастный Скарабеллино, предмет всенародного осмеяния, осужденный увеселять ценителей гримас и палочных ударов, внушает чувство любви очаровательной девушке, которая простосердечно предлагает разделить с ним его судьбу! При этой мысли мои мудрые решения рассеялись. Напрасно я припоминал горечь веронского приключения: на этот раз здесь говорило чувство любви, а не какое-нибудь оскорбительное любопытство. А затем

желание счастья, глубоко пустившее корни в человеческое сердце, разве не побеждает оно самую испытанную предосторожность? И потом, как мог бы я устоять перед улыбкой Пьерины, перед гримаской, с которой она выслушивала мои возражения? Мне оставалось только подчиниться и, не предупреждая хозяина гостиницы о наших замыслах, способных вызвать оппозицию с его стороны, мы в одно прекрасное утро скрылись из Феррары, посвятив в тайну толстую Джеролиму, которая должна была успокоить отца относительно моих намерений в будущем, ибо я обещал обвенчаться с Пьериной, как только получу согласие на брак от синьоре Капаньоле. В Милане вся труппа с синьоре Капаньоле во главе устроила нам великолепную встречу. Синьоре Капаньоле нашел Пьерину очаровательной и предложил ей обучаться актерскому ремеслу, но я воспротивился этому всеми своими силами. Я не хотел, чтобы Пьерина знала, что такое театр, и взял с нее клятву, что она никогда не пойдет смотреть меня в какой бы то ни было роли. Я замучил бы себя на смерть одной мыслью о том, что моя жена присутствует при всех моих кривляниях и является зрительницей спектакля, на котором меня избивают палками. Впрочем сама Пьерина совсем не настаивала. Лишь бы только у нее были красивые платья и было время смотреться в зеркало, больше ей ничего не хотелось. Она казалась счастливой, и я сам чувствовал себя точно так же. А что до любви к нарядам, которая у нее так наивно сказывалась, то я склонен был видеть в ней лишнее доказательство любви. Только для того, чтобы мне понравиться, Пьерина старалась блеснуть всеми своими прелестями, а коль скоро сам я являлся причиной ее кокетства, было бы совсем неуместно делать какие бы то ни было замечания.

* * *

Так дело шло в течение целого года, ибо такой именно срок понадобился мне для того, чтобы заметить, что Пьерина была совсем не так безразлична к восторгам посторонних, как я это себе вообразил. При первых тревожных призна-

ках я попробовал было закрыть на них глаза, но в скорости мне пришлось их понемногу раскрывать. Конечно, невинные проделки, забавлявшие Пьерину, не давали мне основания заключить, что Пьерина меня не любила. Поддаваясь кокетству, она следовала влечению своей натуры и не видела в том ничего дурного. Самое лучшее было бы примириться с своим положением и не раздражать себя. Пьерина была кокеткой. Она кокетничала со мной, с синьором Капаньоле, со всеми актерами труппы, со всяким, кто с ней знакомился, тем не менее подобная склонность, сама по себе невинная, могла рано или поздно окончиться очень плохо.

И тогда какими силами смогу я остановить Пьерину, катящуюся по скользкой и опасной плоскости? Какой авторитет, какое влияние может иметь муж на жену, коль скоро она знает, что каждый вечер его колотят палками к великому удовольствию публики, рукоплещущей всем подвохам, которые ему устраивают, и дурацким шуткам, которые он произносит? Увы! мало того, что я смешил людей со сцены, я рисковал еще тем, что доставлю им еще совсем другую потеху. Пьерина была чересчур красива, чтобы не привлекать поклонников, и чересчур кокетлива, чтобы остаться бесчувственной к их комплементарам. А затем, кто станет особенно церемониться с женой несчастного комедианта?

Эти заботы меня ужасно терзали и наводили на горькие размышления о крушении всей моей жизни и униженности моего положения. А теперь ко всем моим злоключениям прибавлялась еще и ревность. Да, ревность, ревность, заставлявшая меня так жестоко страдать, подсказывала мне самые неразумные планы. Иногда я начинал думать о том, чтобы бросить театр; но у меня не было никакого другого способа обеспечить свое существование, тогда как театр позволял мне удовлетворять все свои нужды и даже невинные прихоти Пьерины. У нее появились уже привычки обеспеченной женщины, и было бы бесчеловечно лишать ее этого. Ее увлечение побрякушками и безделушками требовало некоторых расходов, и я считал своим долгом их делать, ибо ревность моя не хотела мириться с тем, чтобы она стала принимать разные любезные подарки, которые

женщины охотно берут ото всех и платят за них мелкими знаками внимания, являющимися часто невинными прологами к самой преступной податливости. От таких мыслей голова у меня шла кругом, но к помрачению этому примешивалось особенное чувство, окрылявшее мое отчаяние какой-то странной гордостью. И действительно, эта гордость вызывалась у меня ревностью. Как было уже мною сказано, я безусловно жестоко ею мучился; но сознание, что я могу с такой силой переживать подобное чувство, возвышало меня в собственных глазах и удаляло в известной мере от позора, куда увлекла меня исполняемая мною профессия. Я сам дивился тому, что под шутовством обретал в себе человека. Ревность являлась для меня мучением, но в то же время была и отрадой. При мысли, что Пьерина может мне изменить, кровь закипала у меня в жилах. Глаза мои метали молнии, и кулаки яростно сжимались. Эта ярость доставляла мне странное удовольствие. Она казалась мне драгоценной и неожиданной способностью. Вместо того, чтобы пытаться успокоить ее, я лелеял ее в себе, как если бы ей надлежало однажды сослужить для меня службу. Минутами я забывал, что я жалкий Скарабеллино, и чувствовал, как во мне снова возрождается прежний Тито Басси, тот самый, что разгуливал по улицам благородной и торжественной Виченцы, обураваемый желанием могучих подвигов и мечтаниями о героической жизни.

Такое состояние духа все ухудшалось по мере того, как кокетство Пьерины делалось живее и беспокойнее, при чем выходы ее, вместо того, чтобы огорчать и волновать меня, как раньше, возбуждали во мне нечто в роде неуловимого любопытства. Я не то что не сердился на нее, я чувствовал к ней своеобразную признательность и в то же время ощущал в себе глухой гнев. Из-за какой-нибудь малости я был способен повести себя зло и грубо и когда я переживал эти бунтующие ощущения, они вызывали во мне странную смесь удовольствия и гордости. Что до самой Пьерины, то она не замечала перемены в моем настроении и продолжала испытывать чары своих прелестей с невозмутимой беспечностью и веселой легкостью.

* * *

Так обстояли дела, когда я получил письмо от доброго аббата Клеркати. Со времени моего отъезда из Виченцы и после периода отупения и стыда, куда я окунулся вслед за прискорбным фиаско в Олимпийском театре, после первых моих шагов на комическом поприще я возобновил письменные сношения с этим почтенным человеком. Переписка наша не была постоянной, но происходила все же довольно часто. Время от времени мы обменивались латинскими письмами, и уже не раз добрый аббат убеждал меня оставить подмостки и подыскать себе более подходящие занятия, где я мог бы использовать познания в латыни, приобретенные под его руководством. Ему казалось, что недостойно было посвящать себя еще долгое время ремеслу, которым я жил, тем более, что он считал его опасным для моих нравов. Вот почему он весьма благосклонно принял извещение о моем браке с Пьериной. Он усматривал в нем моральную гарантию, которая его радовала, но не казалась ему, однако, достаточной. Полагаю, что именно этой заботе я был обязан известием, сообщенным мне в упомянутом выше письме. Дело в том, что в искусных цicerоновских периодах добрый аббат рассказал мне о кончине графа Вилларчьеро и о том, что перед смертью граф, по его, аббата, настоянию, поручил ему передать мне довольно значительную сумму денег, которая позволяла мне бросить театр и занять приличное положение. Такою щедростью граф Вилларчьеро рассчитывал искупить зло, происшедшее от передачи меня в руки его милости Альвизо Альвениго, что увлекло меня на гибельный путь. Этим даром граф желал также воздать должное той привязанности, которую выказали в отношении графини мой отец и мать во время рокового пожара дворца Вилларчьеро. Добрый аббат сообщал еще, что указанная сумма находится в моем распоряжении и что он готов мне ее вручить, но ему будет особенно приятно, если я сам явлюсь получить ее из его рук, ибо он чувствует приближение старости и был бы счастлив сжать в объятиях своего ученика.

Но если только я, как он сам этого желает, надумаю съездить в Виченцу, он советует мне по возможности меньше показываться в городе.

Дело в том, что его милость Альвениго, недавно снова вошедший в фавор у венецианского сената, был только что назначен на должность подеста г. Виченцы. Коль скоро мое присутствие в городе будет обнаружено, оно сможет все же пробудить злопамятство его милости, несмотря на то, что со времени эпизода в Олимпийском театре синьор Альвениго перестал интересоваться сценой и что, пожалуй, не так уж много шансов у него было признать в актерике Скарабеллино того Тито Басси, которому он предрекал будущее, не имеющее ничего общего с выходами из-под корки пирога и сопровождающими его палочными ударами.

Я решил пойти навстречу желанию достойного аббата Клеркати и сообщил об этом Пьерине, упомянув также и о событии, вызвавшем самое путешествие. Услыхав, что мне предстоит получить значительную сумму денег, Пьерина выказала вначале большую радость. Она сразу же мысленно перевела эту сумму на платья и драгоценности, но когда я растолковал назначение этих денег, она пришла в необыкновенное уныние. Мысль, что я откажусь от театра и буду вести оседлый образ жизни, ей совсем не понравилась. Пьерина приобрела уже вкус к нашему бродячему существованию и совсем не имела в виду менять его на другое. В нем она находила всегда новую и всегда удобную почву для проявления своего кокетства, а постоянная перемена мест и лиц была для этого чрезвычайно благоприятна. Она мне дала совершенно ясно понять, что червонцы графа Вилларчьеро пойдут на другие дела, а совсем не на освобождение меня от ненавистной профессии, и что мне вовсе не следует баюкать себя несбыточными надеждами. Что до поездки в Виченцу, она готова принять в ней участие и намерена получить от нее не мало удовольствий.

* * *

У меня не хватило сил противиться желанию Пьерины. Впрочем, ревность, вероятно, не дала бы мне покоя, если бы я оставил свою кокетку в Болонье, где мы в то время находились. Именно из Болоньи я вместе с Пьериной и отправился в путь. Я взял с нее обещание быть благоразумной и не привлекать внимания посторонних своими выходками. Она клялась мне с тысячами поцелуев, которые наполняли мое сердце радостью, ибо я искренно любил Пьерину, несмотря на причиняемые мне ею мучения, и в этом скоропреходящем идеальном согласии мы прибыли в Виченцу и остановились в гостинице „Трех Гвоздик“. Первый визит я нанес аббату Клеркати. Встреча вышла трогательной. Добрый аббат очень состарился, и недуги приковали его к креслу, но хотя члены его окостенели, голова осталась по-прежнему свежей, и мы излили свои сердца на самом лучшем латинском языке. Казалось, добрый аббат совсем приободрился. Он взял с меня слово, что завтра я приведу к нему Пьерину. Он хотел увидеть ее, поговорить с ней и склонить ее на истинный путь. При расставании аббат просил меня быть осторожным и возможно меньше показываться в публичных местах, так как сбирь подеста следили за приезжими. Я вернулся довольно поздно в гостиницу и поднялся в нашу комнату, откуда Пьерина обещала не выходить за время моего отсутствия. Там я ее, действительно, и нашел, но каково было мое удивление, когда я увидел, что она нарядилась в самое красивое платье, зажгла все свечи и была занята тем, что принимала разные позы перед зеркалом! У меня был рассерженный вид, а она стала расхваливать галантное обращение моих земляков. Из окна она успела получить от прохожих не один нежный взгляд, а два очень хорошо одетых молодых синьора прошли раз десять взад и вперед по улице, лорнировали ее и даже подавали ей знаки.

Делая эти признания, Пьерина не подозревала, что они были совсем некстати. В самом деле, я находился в состоянии необыкновенного возбуждения и грусти. Вид Виченцы

пробудил во мне горькое воспоминание о моих разбитых иллюзиях. Благородные постройки Палладио заставили меня еще сильнее почувствовать свое падение. Я, — так часто мечтавший о том, как они станут свидетелями моей славы, как они будут встречать мои триумфы, — я явился сейчас сюда в весьма жалком положении, бедным бродячим комедиантом и ревнующим мужем кокетливой жены, кокетство которой сделало из меня себе потеху.

Дело в том, что когда Пьерина увидела мою насупленную мину, она была не в силах удержаться от смеха. Неразумная женщина не понимала, что если прежде смех этот не раз меня обезоруживал, то сейчас он напоминал мне тот самый смех, от которого я каждый вечер терзался на подмостках, сознавая необходимость сносить его молча... Но Пьерина с давних пор привыкла смотреть на мои ежедневные унижения и на обиду, которую они вызывали, просто как на доказательство моего непокладистого характера. Чего мне было собственно жаловаться на палочные удары, коль скоро с их помощью я мог доставлять ей тысячи ничтожных утех, до которых она была такая лакомка?

Стоило ли из-за этого быть угрюмым и неразговорчивым?

Ну, а раз я вел себя так, то она отнюдь не намерена считаться с этим и подделываться под мою ипохондрию. Вот почему она и не подумает проводить сегодняшний вечер tête-à-tête со мной, в дрянной гостиничной комнате, тем более, что в двух шагах от нас золотая молодежь Виченцы разгуливала на Пьяцца деи Синьори и весело занимала столики в кафе.

Конечно, мне следовало воспротивиться подобной фантазии Пьерины, и я безусловно поступил бы так, если бы она не бросила мне вызова. По ее мнению, я действительно испугался сбирь подеста, коль скоро не осмеливаюсь показаться наружу. Теперь она несколько не удивляется, что меня в свое время освистали: такой трусишка, как я, безусловно не может играть героические роли. Я годеен самое большее на увеселение толпы гримасами. А если даже допустить, что меня узнают, то что может быть для меня плохого? Ведь за мной не числится никаких предосудительных

поступков. Не обязан же человек родиться только для того, чтобы играть роль Цезаря в скверной трагедии? У меня нет ровно никаких оснований прятаться. А затем, кому же можно поставить в вину то, что он сопровождает хорошенькую женщину? А если бы господин подеста увидел в этом что-нибудь дурное, найдутся люди, сумеющие ему ответить. Одним словом, задетый за живое, я кончил тем, что уступил желанию Пьерины.

Когда мы пришли на Пьяцца деи Синьори, она оказалась довольно пустынной, потому что недавно прошел короткий ливень и разогнал гулявших по кафе. Три или четыре из них были ярко освещены и полны народу; то, куда мы вошли, было битком набито, так что с большим трудом мы достали свободный столик. Устроившись в своем уголке, я вздохнул свободнее. Несмотря на хорошенькое личико и миленькое платье Пьерины, наш приход остался почти незамеченным, до такой степени все были заняты своими собственными разговорами. Я поздравлял себя с удачей и с тем, что никто меня здесь не признает, как вдруг я заметил, что в нашу сторону начинают устремляться взгляды. Через несколько минут мы сделались центром внимания всех столиков. Достаточно было нескольких задорных гримасок и выразительных взглядов Пьерины, чтобы вызвать подобный эффект. Между тем, сама она была, повидимому, чрезвычайно довольна вызванным к себе интересом.

Она жеманилась, вела себя весьма легкомысленно и с явным удовольствием позволяла всем рассматривать себя в лорнет. При виде этого, глухое раздражение, бывшее во мне, перешло в безмолвный гнев. Мною овладело какое-то ужасное недомогание. Мне казалось, что в каждом взгляде я читал насмешку по своему адресу. Не владея собой, я шепнул на ухо Пьерине, что прошу ее уйти и тем положить конец мучению, делавшемуся для меня нестерпимым. Но Пьерина сказала — нет, засмеялась и объявила, что ее шербет совсем не плох и что ей весело.

Разговаривая со мной, Пьерина не переставала смотреть в один из углов залы. Я невольно последовал за ней взглядом.

Она смотрела на двух молодых синьоров, сидевших за столиком, и я заметил знаки, которые один из них делал Пьерине. Очевидно, это были молодые люди, чьи проделки описывала мне Пьерина, те синьоры, что сегодня днем успели уже несколько раз пройти у нее под окном. В эту минуту они оглядывали Пьерину непозволительно дерзкими глазами. Я обратил на это ее внимание и еще раз заявил о своем желании уйти, но она ничего не слушала, обозвала меня ночным колпаком, противным ревнивцем и продолжала отвечать на заигрывания обоих нахалов. Поведение Пьерины, мои препирательства с нею, мой яростный вид возбудили любопытство и внимание присутствующих. Нас стали наблюдать. Вокруг нас раздался сдержанный шопот. В последний раз я стал умолять Пьерину уйти и возвратиться в гостиницу, но вместо того, чтобы послушаться меня, она заказала себе вторую порцию шербета.

Когда мальчик-лакей поднес его, я заметил, как он сунул ей в руку сложенную бумажку, которую Пьерина попыталась было спрятать в свой корсаж. На этот раз терпение мое лопнуло, и в грубой форме я велел Пьерине отдать мне записку, только что ею полученную у меня под носом. В ответ на мое требование, она ограничилась тем, что бросила взгляд соучастника в сторону вероятных виновников этого галантного маневра и спокойно погрузила свою ложку в шербет.

Такое бесстыдство меня взорвало. Еще более резко я повторил свое приказание:

— Пьерина, отдай мне записку. Я этого хочу. Пьерина...

Я возвысил голос и схватил Пьерину за руку и так порывисто, что опрокинул шербет. Горло у меня сжалось, и голосом хриплым и громким, потеряв всякую власть над собой, я прокричал:

— Пьерина...

Громкий раскат хохота раздался мне в ответ, и смеялась не только Пьерина, но весь зал целиком застонал от восторга при виде нашей ссоры. Но это было уже слишком. Гнев ударил мне в голову, и я забыл о всякой пристойности. Я снова схватил Пьерину за руку. Она была взбе-

шена и сопротивлялась. Я все более свирепел. Сердце мое билось с безумною силой. Люди вокруг нас встали с мест и образовали круг. Со всех сторон сыпались насмешки, а мы продолжали вести свою смешную борьбу. Уже стали вскакивать на стулья, чтобы лучше видеть, как я стараюсь увлечь Пьерину на улицу, и как она отбивается и ускользает из моих рук. Я уже ничего не сознавал. Смех звенел в моих ушах.

О, этот смех, терзавший мою барабанную перепонку! Я узнал его опять. Каждый вечер я слышал его, когда по обязанности жалкого комедианта, веселил публику своими шутовскими выходками; я слышал его в этой самой Виченце, в Олимпийском театре, когда этот смех своим безжалостным острием проткнул, как пузырь, мои героические иллюзии! Это он встретил своим приветом уморительный дебют несчастного Тито Басси, это он оказал почетный прием гнусным гримасам прославленного Скарабеллино. Он был неизбежным спутником моей разбитой жизни. Мне было предназначено всюду и всегда быть посмешищем. Эта мысль перевернула мне всю душу. Я совсем обезумел от гнева и оскорбленной гордости и, чем больше нарастало мое бешенство, тем сильнее все смеялись тому зрелищу, которое я собою представлял.

Как раз в эту самую минуту рука моя нащупала на столике нож, которым чистили лимоны. Порывистым жестом я занес его над своей головой. При этом угрожающем действии Пьерина вскрикнула и хотела было бежать, но я вдруг бросился на нее. Мы вдвоем упали на землю. Когда я снова поднялся, глубокое молчание сменило недавнюю сутолоку. Люди суетились вокруг Пьерины, распростертой на полу. На руках у меня была кровь. Сбирь подеста, привлеченные шумом и ворвавшиеся в кафе, крепко держали меня в руках. Вдруг их начальник разразился восклицанием:

— Как? Я не ошибаюсь: да ведь это Тито Басси.

Я поднял голову и узнал Джироламо Пескаро, сына сторожа Олимпийского театра, товарища моего детства. Он прибавил:

— Ну, ладно, пойдем; хороших дел ты наделал! Его милость не любит шуток с ножом. Эх, бедный мой, Тито!

Я выпрямился и гордо посмотрел на него. Комедия моей жизни была окончена. Никто уже не смеялся над Тито Басси.

* * *

Когда я очутился в камере для заключенных, я испытал необыкновенное удовлетворение от своего нового положения и первая моя мысль была о бедной Пьерине. Я конечно сожалел о том, что поразил ее так жестоко, но к сожалению этому примешивалось чувство гордости перед самим собой и благодарность к покойной. Но не сама ли Пьерина своим легкомыслием и кокетством толкнула меня на трагический поступок, возвративший мне уважение к самому себе? Конечно, ему далеко было до высоты тех деяний, о героическом воплощении которых я мечтал, и, тем не менее, разве он не обнаружил, что избиваемый палками гаер, в роде меня, способен еще быть человеком, заботящемся о своей чести? И теперь, раз уж я не сумел прожить так, как бы мне хотелось, мне оставалось еще достойно умереть и показать, что, если я не гожусь в герои, то во всяком случае я — не трус. Такой конец не казался мне особенно трудным. Смерть не пугала меня; я считал ее справедливой. Ведь я же убийца, а потому не сомневался, что правосудие подеста приговорит меня к концу, которого заслуживает мое преступление.

И, действительно, немного шансов было за то, что его милость выкажет снисхождение к моему проступку. У него, должно быть, сохранилось самое отчетливое воспоминание о Тито Басси, которого он безрассудно превознес и даже попытался сделать из него Цезаря и который оказался годным, как показали события, только на то, чтобы стать Скарабеллино.

У теперешнего подеста, должно быть, был на меня зуб и за те улюлюканья, которыми благодаря мне был встречен несравненный писатель каким он себя считал. Жестокий урок, полученный его тщеславием, мог служить

порукой его нынешней суровости. Впрочем, уже самый режим, который был мне назначен, указывал на это. Меня содержали с большой строгостью, и никто не переступал порога моей камеры.

Единственное исключение было сделано для несчастного аббата Клеркати. На следующий день после моего заключения он испросил, не взирая на свои немощи, аудиенцию у подеста, куда велел снести себя в кресле. Но тщетно взывал он к милосердию его милости, он добился от него одних лишь издевательств и непристойностей. Таким образом, участь моя не оставляла сомнений, и бедный аббат мог получить одну только милость: пройти на несколько минут в мою камеру, чтобы уговорить меня умереть, как подобает доброму христианину. Так именно он и сделал, при чем все время сокрушался о том, как столь ученый латинист не мог найти лучшего применения для своих знаний, а пошел на презренные подмостки и навлек на себя обвинение в преступном деянии. Из этих слов я заключил, что Пьерина умерла от раны, и это заставило меня залиться слезами, с которыми добрый аббат смешал также и свои и поцеловался со мной на прощанье.

После этого свидания я погрузился в полное одиночество и в течение всей следующей недели не видел никого, кроме надзирателя, приносившего мне ежедневно пищу. Только его визиты нарушали размышления, которыми я был занят, и все они подготавливали меня к тому, чтобы твердо сделать шаг, на который мне предстояло отважиться. Так как надзиратель был весьма порядочный человек, я упросил его достать мне небольшое зеркало и проводил перед ним долгие часы, изучая позы и наблюдая свою мимику. Главной моей заботой было отправиться на казнь достойным образом и показать толпе лицо, на котором ясно можно было прочесть спокойствие духа. Чтобы добиться этого, я припоминал самые трагические роли из числа разученных мною в прежнее время. Я старался получить нужную мне экспрессию и применить ее к данным обстоятельствам: т. е. всего менее прибегать к напыщенности и использовать невозмутимую важность.

Иной раз мне казалось, что в жестах своих и походке я находил то, что требовалось. Но лицо не переставало меня беспокоить. Черты его, которые совсем не были безобразны, всегда имели склонность легко искажаться, а комическое амплуа, занимаемое мною, и гримасы, неизбежно связанные с ним, еще более способствовали этому досадному предрасположению. Я старался исправить это и изобразить на своем лице все величие, какое только было ему доступно.

Занявшись этим, я ждал дня судебного разбирательства. Приговор оказался таким, как я и думал. Я был присужден к смертной казни через повешение. Вернувшись к себе в камеру, я написал три письма. Одно достойному аббату Клеркати, где я пустил в ход самую изысканную латынь, другое синьору Капаньоле с извинением за то, что расстраиваю его труппу, а третье родителям Пьерины, где просил у них прощения за ее смерть. Когда я передал последнее письмо надзирателю, он посмотрел на меня значительным взглядом, как бы готовясь сделать какое-то признание, но в ту минуту я не обратил на это внимания.

Наступил срок казни, дня через три после того, как я привел таким образом в порядок свои дела. Вскоре после полудня сбирь подошли к моему окошку. Джироламо Пескаро, товарищ моего детства, командовал ими. Между мной и Джироламо не было особенной дружбы, и все же я был удивлен тем веселым выражением лица, с каким он приказал мне за ним следовать. Конечно, я был уверен, что смерть моя была для него довольно безразлична и, тем не менее, мне казалось странным, что можно вести человека на виселицу с таким удовольствием. Впрочем, удовольствие это разделялось, повидимому, всем конвоем и даже самим надзирателем. Я сохранил про себя это впечатление и почел своею обязанностью идти туда, куда меня повели. Я сделал строгое лицо, придал больше решительности взгляду и двинулся в путь размеренным шагом. Я был доволен своей выправкой и твердо решил, что сохраню ее даже с веревкой на шее.

* * *

Виселицу поставили как раз на Пьяцца деи Синьори. Вид ее не вызвал во мне ни малейшего смущения, но я удивился стечению народа, привлеченного готовящимся событием. Площадь была битком набита, а окна стоявших вокруг дворцов заняты зрителями. В одном из окон базилики Палладио я заметил самого подеста. Его милость нисколько не переменялся, и его новая должность не сделала его ни более опрятным, ни более величественным.

Огромный, бесстыдно насмешливый, он сделал мне рукой короткий жест. Я сделал вид, что ничего не видел и последовал за стражей, которая с трудом прокладывала дорогу в толпе. Толпа эта, надо сказать, совсем не кричала и не проявляла никакой враждебности. Напротив, на всех лицах было написано то же самое выражение радости и веселья, которое я уже заметил у сбиров и у Джироламо.

Я дошел таким образом до самого подножия виселицы. Очутившись там, я посмотрел на нее спокойно и с какой-то даже признательностью.

Разве не она, в самом деле, была последним оставшимся у меня средством доказать всем, что чувства мои гораздо выше моего звания? С ее помощью я должен был, если так можно выразиться, высоко подняться в глазах публики. Неужели же это малое дело — показать, что человек умеет умереть, как следует, — и я твердо решил, что не проявлю слабости и докажу это на деле. И однако, как прискорбно закончилось мое героическое ослепление! Но тогда ни время, ни место не подходили для сентиментальностей. Я еще раз перевел свой взгляд на толпу, теснившуюся вокруг меня, отгоняемую назад построенными в круг сбирами. Мне была приятна отзывчивость, с какою мои сограждане поспешили на последнее представление, даваемое мной; мне хотелось, чтобы весь мир стал свидетелем моего мужества и с недогнувшим сердцем посмотрел я на подходившего ко мне палача.

Он был, повидимому, очень молод и совсем небольшого роста. Особого вида капюшон, спущенный на глаза, закры-

вал его лицо. В ту минуту, как он накидывал мне на шею пеньковую веревку, я заметил, что у него изящные руки. Я не оказывал сопротивления. Я поставил было сапог на первую ступеньку лестницы, как вдруг из-под капюшона палача зазвенел ясный веселый смех, в то же самое время капюшон этот был быстро откинут и открыл глазам моим лицо Пьерины, той самой Пьерины, которую я считал уже мертвой и по чьей милости я стал жертвой чудовищного фарса, измышленного злобой его милости.

И только теперь я понял! Я понял, под несмолкаемый смех толпы, наполнявший всю площадь грандиозным радостным ликованием, что легкое поранение Пьерины было всего лишь предлогом для того, чтобы оскорбительно высмеять меня, что суд был только шуткой, что приготовления к казни не больше, как комедия, секрет которой был объявлен всему народу по приказу подеста, сидевшего теперь у окна, хлопавшего себя по животу обеими руками, и широко раскрывшего рот от смеха, который смешивался сейчас со смехом всей Виченцы. Напрасно я воображал, будто этот исключительный случай позволит мне осуществить, хотя бы на мгновение, героическую мечту моей жизни. Увы! я не принял в расчет синьора Альвениго! Он сумел круто оборвать мои трагические претензии и подготовить этот последний провал. По его милости я снова сделался всеобщим посмешищем и шутовским персонажем. По его милости я снова услышал, как вокруг меня раздался смех, неизменный спутник всех моих порывов, и вот, с высоты смерти я грузно свалился опять в площадный фарс. И в то время, как вокруг меня вся Виченца выкрикала славную штуку своего подеста и присоединяла к выкрикам имя его любовницы, Пьерины, я горько оплакивал ненужную и жестокую обиду, нанесенную бедному Тито Басси, который, обратившись теперь навсегда в прославленного Скарабеллино, почувствовал, как навеки захлопнулась над его судьбой картонная крышка „Волшебного пирога“, уморительная и окончательная гробница его героических мечтаний.

Перевел с французского

Б. Кржевский

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

Вышли из печати:

ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА.

- | | |
|------------------------------|--|
| О. де-Бальзак | — „Шагреневая кожа“. |
| Д. Г. Байрон | — „Драма“, ц. 1 р. 50 к. |
| „ | — „Дон-Жуан“, ч. 1-я, ц. 1 р., ч. 2-я, ц. 1 р. 75 к. |
| Э. Верхарн | — „Поэмы“, ц. 40 к. |
| Б. Гальдос | — „Очарованный Кавальеро“. |
| Г. Гейне | — „Путевые картины“, ч. 1-я, ц. 35 к., ч. 2-я ц. 65 к. |
| В. Гёте | — „Фауст“, ч. 1-я, ц. 1 р., ч. 2-я, ц. 1 р. 45 к. |
| „ | — „Страдания юного Вертера“, ц. 40 к. |
| И. Гердер | — „Из моей жизни“, т. 1-й. |
| К. Гольдони | — „Сид“, ц. 35 к. |
| Т. Гоффман | — „Комедии“, т. 1-й, ц. 60 к., т. 2-й, ц. 55 к. |
| В. Гюго | — „Музыкальные новеллы“, ц. 30 к. |
| К. Гоцци | — „93-й год“, ц. 1 р. |
| „ | — „Сказки для театра“, т. 1-й, ц. 1 р. 60 к. и т. 2-й |
| Э. Зола | — „Западня“, ц. 50 к. |
| Г. Клейст | — „Труд“, |
| „ | — Собрание сочинений, т. 1-й, ц. 1 р. 75 к. и т. 2-й |
| Эса де-Кэйрош | — „Реликвия“, ц. 70 к. |
| К. Лемонье | — „Завод“, ц. 65 к. |
| „ | — „Рог призыва“. |
| Ляо-Чжай | — „Лисьи Чары“, ц. 50 к. |
| К. Ф. Мейер | — Новеллы, ц. 1 р. 20 к. |
| П. Меримэ | — „Театр Клары Газуль“, ц. 1 р. 60 к. |
| Монгольские сказки | — „Волшебный мертвец“, ц. 60 к. |
| Марат | — Письма, ц. 60 к. |
| Новалис | — „Гейнрих фон Офтердинген“, ц. 35 к. |
| Р. Роллан | — „Театр революции“, ц. 53 к. |
| „ | — „Трагедии веры“, ц. 1 р. 50 к. |
| Сезан | — „Сергюзеппт“. |
| Сем Бенелли | — Избранные сочинения. |
| О. Уитмэн | — „Листья травы“, ц. 1 р. |
| Усама Ибн-Мункыз | — „Книга назидания“, ц. 70 к. |
| А. Франс | — Рассказы. |
| Б. Шоу | — Пьесы, ц. 1 р. 50 к. |
| Антология Китайских Лириков, | ц. 40 к. |

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- | | |
|----------------|---|
| Г. Д'Аннунцио | — „Ноктюрн“, ц. 1 р. |
| П. Бенуа | — „Атлантида“, роман, ц. 40 к. |
| „ | — „Дорога гигантов“, роман, ц. 75 к. |
| А. Боро | — „Страдания толстяка“, роман. |
| С. Бржозовский | — „Зарево“, роман из эпохи народовольцев, ц. 1 р. 25 к. |
| Г. Верфель | — „Человек из зеркала“, пьеса, ц. 60 к. |
| К. Гамсун | — „Соки земли“, роман, ц. 65 к. |
| Г. Гауптман | — „Зимняя баллада“, пьеса, ц. 33 к. |
| П. Гзель | — „Беседы А. Франса“, ц. 70 к. |

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

- | | |
|----------------|---|
| О. Генри | — Рассказы, ц. 1 р. |
| „ | — „Короли и капуста“, роман, ц. 90 к. |
| Г. Гольст | — „Лирические драмы“, ц. 45 к. |
| С. Лагерлев | — „Гномы и люди“, рассказы, ц. 35 к. |
| Р. Маран | — „Батуала“, африканский роман. |
| К. Мейринк | — „Голем“, роман, ц. 70 к. |
| М. Маркс | — „Женщина“, роман, ц. 50 к. |
| М. Матерлинк | — „Белая невеста“, пьеса. |
| Папалаги | — „Пьесы“. |
| Д. Мэйзфильд | — „Донгоо - Тонка“, кинематографический роман, ц. 25 к. |
| Ж. Ромэн | — „Кола Бреншон“, роман, ц. 70 к. |
| Р. Роллан | — „Пьер и Люс“, роман, ц. 35 к. |
| „ | — „Клерамбо“, роман, ц. 1 р. |
| „ | — „Аннет и Сильвия“, роман, ц. |
| Дж. Синг | — „Герой“, пьеса, ц. 55 к. |
| Э. Синклэр | — „Сто процентов“, роман, ц. 75 к. |
| Г. Уэллс | — „Неугасимый огонь“, роман, ц. 40 к. |
| Ф. Унру | — „Род“, „Площадь“, пьесы. |
| А. Франс | — „Жизнь в цвету“, роман, ц. 80 к. |
| Л. Франк | — „Человек добр“, роман, ц. 65 к. |
| К. Штернгейм | — Четыре новеллы |
| К. Эдшид | — „Шесть притоков“, новеллы, ц. 60 к. |
| „ | — „Тимур“, рассказы. |
| Экспрессионизм | — Сборник статей, с иллюстрациями. |

Цены обозначены в червонцах по курсу Госбанка.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ:

- | | |
|-----------|-------------------------------------|
| Д. Дефо | — „Робинзон Крузо“. |
| Р. Распе. | — „Приключения барона Мюнхгаузена“. |
| М. Твэн | — „Приключения Тома“. |

Печатается:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| В. Гете | — „Из моей жизни“, т. 2-й |
| Г. Клейст | — Собрание сочинений, т. 3-й |
| Стендаль | — „Пармский монастырь“. |
| Вольтер | — „Орлеанская девственница“. |
| Р. Тагор | — Пьесы и стихотв. в прозе. |
| Э. Синклэр | — „Испытания любви“. |
| В. Гауф | — Сказки. |
| Дж. Конрад | — „Каприз Олмэира“. |
| Монголо - ойратский эпос. | |
| Исз-Моногатаи | — Лирические повести древней Японии. |
| Г. Бергстед | — „Александрсен“ |
| Л. Фульда | — „Тень осла“ |
| А. Струг | — „Деньги“ |
| Дж. Папини | — „Конченный человек“ |
| Э. Синклэр | — „Ад“, пьеса. |
| Ж. Дюамель | — „Полуночная исповедь“. |
| А. Ренье | — „Героические мечтания“, роман. |

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“.

ОБЪЕДИНЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА
И. К. П.

Вышли в свет:

издаваемые „ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ“ журналы:

„СОВРЕМЕННЫЙ ЗАПАД“

книги 1-я, 2-я и 3-ья.

Под редакцией Е. И. Замятина, А. Н. Тихонова, К. И. Чуковского и Абр. Эфроса.

Печатается № 4-й.

„ВОСТОК“

книги 1-я, 2-я и 3-я

Под редакцией академика С. Ф. Ольденбурга, академика И. Ю. Крачковского, профессора В. М. Алексеева, проф. Б. Я. Владимирцова и А. Н. Тихонова.

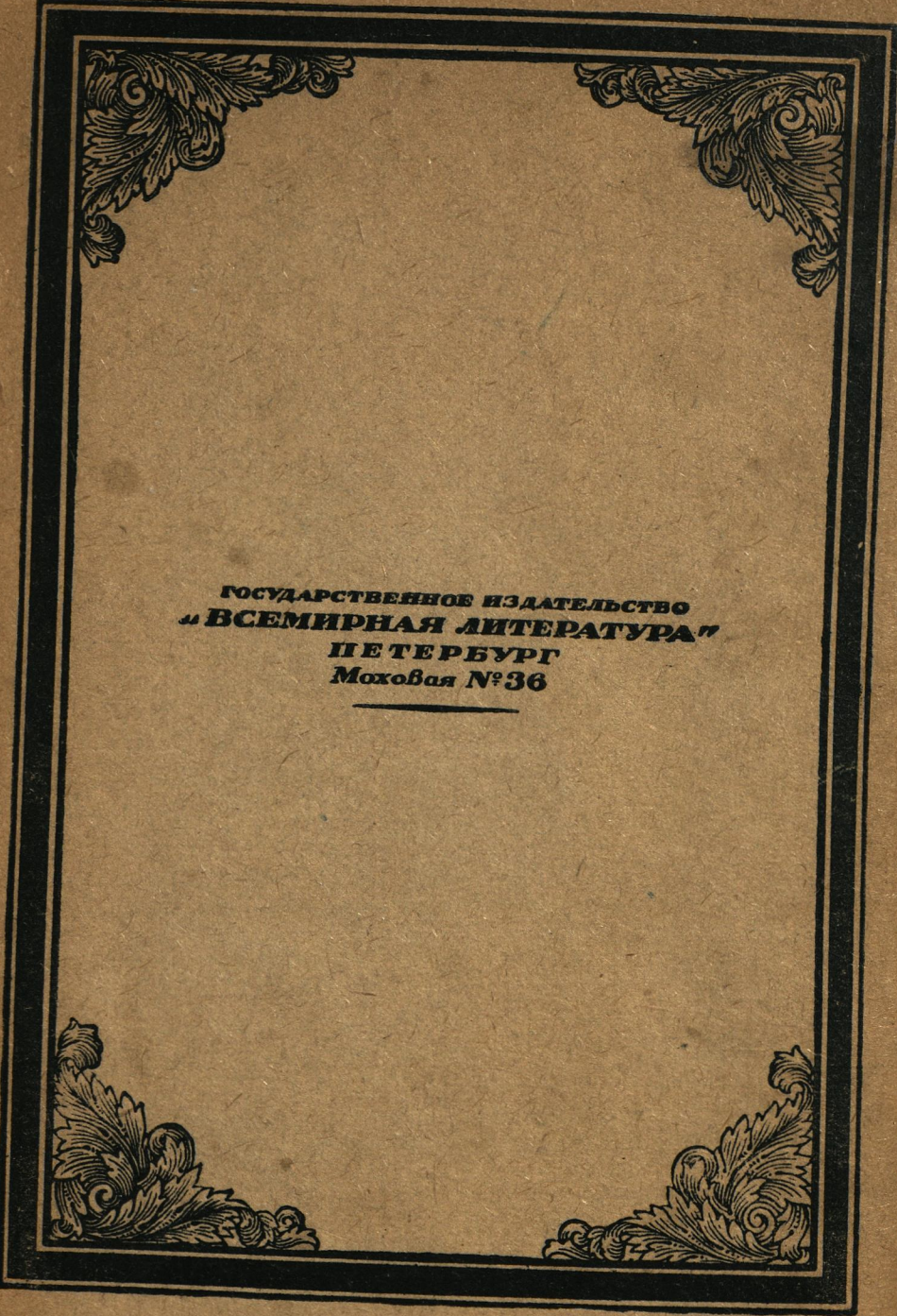
Печатается № 4-й.

Торговый сектор Государственного Издательства:

Москва, Ильинка, Биржевая площадь, Богоявленский пер., 4.
Петроград, Проспект 25 Октября (Невский), 28.

ОТДЕЛЕНИЯ:

Вологда, Площадь Свободы; Воронеж, Проспект Революции, 1-й дом Совета; Казань, Гостинодворская, Гостиный двор; Киев, Крещатик, 34; Кострома, Советская, 11; Краснодар, Красная, 33; Нижний-Новгород, Б. Покровка, 12; Одесса, ул. Лассаля, 12; Пенза, Интернациональная, 39/43; Ростов-на-Дону, ул. Фридриха Энгельса, 106; Саратов, зд. Совета; Тамбов, Коммунальная, 14; Тифлис, Проспект Рустанели, 16; Харьков, Московская, 20.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
ПЕТЕРБУРГ
Моховая №36